

100 великих романов

Михаил
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

ИСТОРИЯ
ОДНОГО
ГОРОДА



100 великих романов

Михаил Салтыков-Щедрин

**История одного города.
Господа Головлевы**

«ВЕЧЕ»

1870, 1880

Салтыков-Щедрин М. Е.

История одного города. Господа Головлевы / М. Е. Салтыков-Щедрин — «ВЕЧЕ», 1870, 1880 — (100 великих романов)

ISBN 978-5-4444-9136-2

Острая сатира обязана быть гротескной, подобной злому шаржу или талантливой карикатуре. Такова «История одного города» Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889) – сочинение эпическое, «былинное» и сказочное. Хотя бы потому, что вся художественная литература представляет собой в некотором смысле «сказки для взрослых». «История одного города» – признанный шедевр фантастического реализма.

ISBN 978-5-4444-9136-2

© Салтыков-Щедрин М. Е., 1870, 1880

© ВЕЧЕ, 1870, 1880

Содержание

Сказка о России Салтыкова-Щедрина	7
И чиновники чувствовать умеют	8
Глуповская история	10
История одного города	12
От издателя	12
Обращение к читателю	14
О корени происхождения глуповцев	16
Опись градоначальникам	21
Органчик[6]	23
Сказание о шести градоначальницах	31
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Михаил Салтыков-Щедрин

История одного города. Господа Головлевы

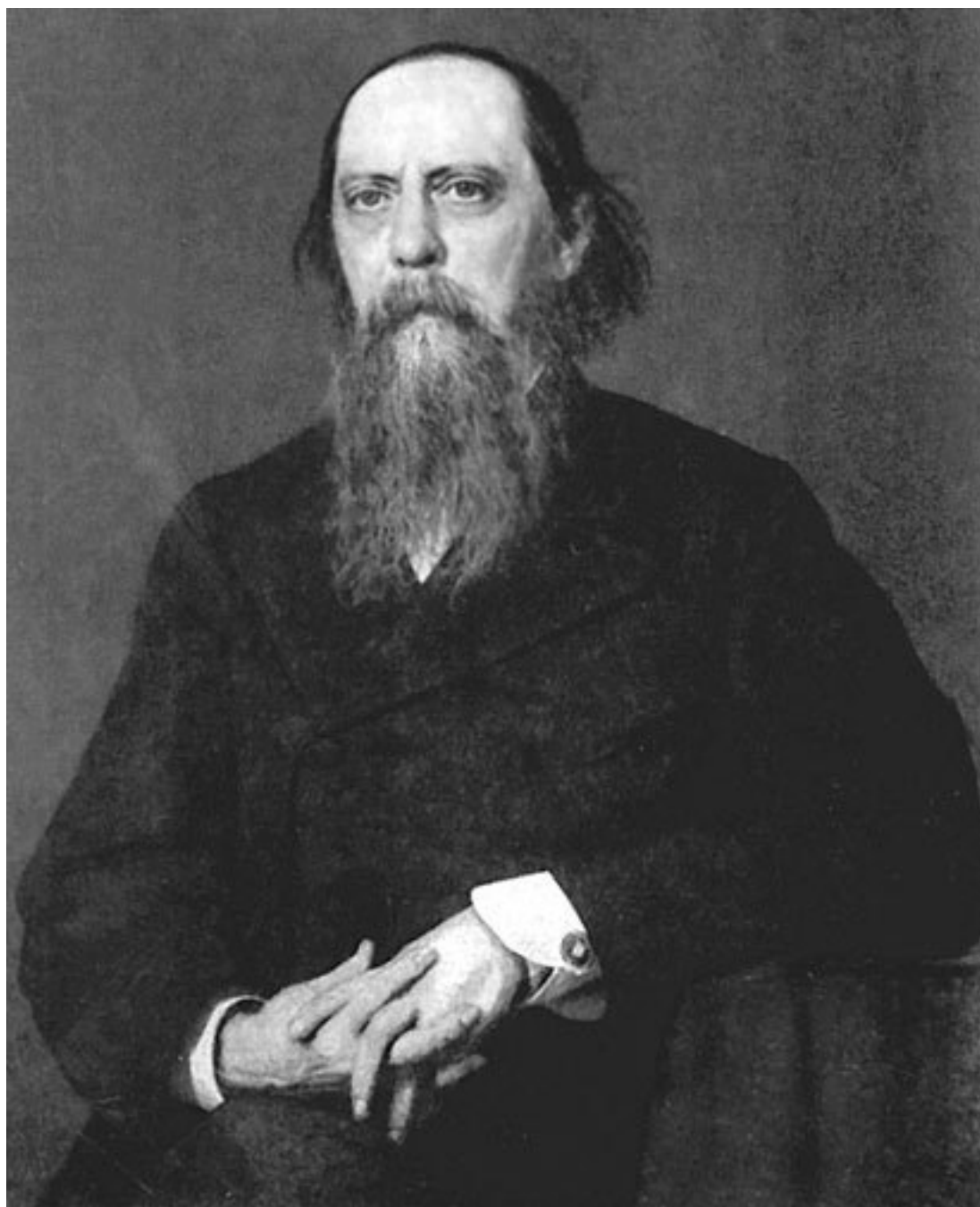
© Клех И. Ю., вступительная статья, 2017

© ООО «Издательство «Вече», 2017

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства www.veche.ru

* * *



Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович

(1826–1889)

Сказка о России Салтыкова-Щедрина

Быть дураком – наше врожденное естественное свойство. Ничего стыдного в этом нет. Сознание и признание данного факта в той или иной мере присущи всякому разумному человеку. Кто никогда не видел в зеркале дурака – тот попросту идиот, этого еще не знающий. Есть смиренная русская поговорка: «Родился мал, вырос глуп, помер пьян, ничего не знаю. – Иди душа в рай».

Как всякий человек, всякий народ тоже имеет неотъемлемое право на глупость. «История одного города» Салтыкова-Щедрина (1826–1889) – наш драгоценный вклад в сокровищницу всемирной дури и жемчужина в ее короне. Наравне со вкладами Джонатана Свифта, Эразма Роттердамского («Похвала глупости»), Себастьяна Бранта («Корабль дураков»), Брейгеля Мужичского («Нидерландские пословицы») – в противовес «Городу Солнца» Кампанеллы и прочим утопичным грезам, от Платона до Мора, отцов иезуитов, якобинцев, фурьеристов и т. д.

Прямая линия может быть прочерчена от щедринского города Глупова и глуповцев к «Городу Градову», «Чевенгуру» и «Котловану» Андрея Платонова, к зиновьевскому Ибанску и заибанцам; ретроспективная – к русскому фольклору, басням Крылова и гоголевскому «Ревизору»; боковые – к «Проекту введения единомыслия в России» Козьмы Пруткина и «Истории России от Гостомысла до наших дней» А. К. Толстого; диагональные – к Ильфу и Петрову с Булгаковым и дальше – к ерофеевскому эпосу «Москва – Петушки» (где заявлено, что все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтоб не загордился человек), и к приговоскому циклу про Милицанера (который пусть не михалковский дядя Степа Каланча, а все у него под контролем почище, чем у американских суперменов и бэтменов), и даже к детским сказкам о Буратино и Незнайке (первые сведения о котором можно найти еще в русском фольклоре – как незнайка на печи лежит, а знайку на веревочке ведут).

Но пора уже от похвалы глупости переходить к дифирамбу бюрократу.

И чиновники чувствовать умеют

Нет другого сословия, которое дружно поносили бы все кому не лень и почем зря. Фигура бюрократа и чиновника – это наш идол для битья и козел отпущения. Словно он повинен в нашей неспособности к самоуправлению и недоговороспособности. Тогда как в государстве так и должно быть – разделение труда. И чем инфантильнее население, тем всевластнее бюрократ и свирепее методы правления. В щедринском Городе у градоначальников универсальный ключ к решению любой проблемы – «принцип свободного сечения», то бишь профилактическая порка населения.

Глупо или смешно, но стоит помнить, что телесные наказания еще не столь давно были распространены повсеместно – от английских школ до российской армии. У нас дворян-то перестали сечь только после указа Петра III в 1762 году, а крестьян и солдат секли еще сто лет на законном основании да еще полста рукоприкладствовали или пороли по особому распоряжению, вплоть до самой Гражданской войны (последним, кажется, массовую порку населения практиковал Верховный правитель России Колчак, одно слово – герой и мученик белой идеи). Даже после отмены крепостного права в «Московских ведомостях» необходимость и оправданность телесных наказаний аргументировались так: «Есть грубые натуры, на которые ничто не действует, кроме телесной боли».

Так вот, Салтыков-Щедрин был чиновником и бюрократом. Что не было такой уж редкостью для русских писателей – достаточно вспомнить Державина, Гончарова, Грибоедова с Тютчевым, да и Пушкин порой числился на государственной службе. Как и Пушкин, Салтыков окончил Царскосельский лицей, эту элитную кузницу госслужащих, и даже пописывал стишки, да вовремя бросил. Более того, угодив на службу в канцелярию военного министра России, также поплатился многолетней ссылкой в Вятку за «вредный образ мыслей» и дебютные литературные публикации без спросу и одобрения начальства.

Салтыков был чиновником образцово-показательным, не бравшим и не позволявшим другим брать взятки и, таким образом, «подмазывать» косную и буксующую бюрократическую систему, с чем люди давно свыклись. В старину система самообеспечения чиновничьего сословия простодушно называлась «кормлением» и не очень усовершенствовалась за прошедшие века. Салтыков проявил себя толковым бюрократом, за что и поплатился в конце концов отставкой, дослужившись до чина действительного статского советника, штатского генерала. Все триста лет правления дома Романовых имелся спрос на более-менее честных и принципиальных чиновников, как до того – на смысленных думных дьяков, искушенных кремлевских «визирей», деятельных царских воевод. Не возникло бы иначе никакой империи.

Вот характерная история из трудовой биографии Салтыкова. Будучи в очередной раз вице-губернатором, он потребовал от своих подчиненных трудиться сверхурочно. Честно отработав полдня, как было заведено, те возвращались в свой «спальный район» в дальнем предместье, а к восьми вечера вынуждены были возвращаться на службу. В распутицу они брели босиком по бездорожью, а дойдя до мощеных улиц, мыли ноги в последней луже и влазили в свои сапоги, чтобы выглядеть опрятно и прилично. Эту картину увидел и описал заезжий газетчик, скрывшийся под псевдонимом, что было нормой в то время. Так вот, Салтыков не только устыдился и отменил собственное распоряжение, но потратил время и старания, чтобы отыскать журналиста, поблагодарить за урок и даже предложить сотрудничать.

На всех портретах Салтыков-Щедрин выглядит «букой», наводящим страх на современников и потомков. Мандельштам писал в «Шуме времени»: «...эмблема всего дома, портрет Щедрина, глядящий исподлобья, нахмурив густые губернаторские брови и грозя детям страшной лопатой косматой бороды. Этот Щедрин глядел Вием и губернатором и был страшен,

особенно в темноте». Но этот всегда недовольный «угрюм-бурчеев» имел сердце и, выбрав на чем свет стоит подчиненных, выписывал им премии, вспомоществование или повышение оклада. Каким чиновником он был, таким впоследствии стал и редактором, возглавив после Некрасова «Отечественные записки» – влиятельнейший литературный журнал того времени, где он сам вкалывал как чернорабочий и литературный поденщик. Литература и журналистика, которыми он занимался, причислялись тогдашней публикой к «обличительному направлению» (столетием позже американцы станут звать таких обличителей «разгребателями грязи»). Поэтому уму непостижимо, как удалось Щедрину создать попутно такой несомненный литературный шедевр, как «История одного города». И наоборот, понятно, отчего после закрытия журнала правительством, которое затягивало гайки после убийства Александра II, ему не оставалось ничего другого, как безнадежно разболеться и умереть. Трудно поверить, какое нежное сердце было у этого чиновника – чрезвычайно умного и болезненно непримиримого человека. Вот что писал своим детям этот бюрократ, отвлекаясь от литературных и политических баталий:

«Доношу вам, что без вас скучно и пусто. Когда вы были тут, то бегали и прятались в моей комнате, а теперь такая тишина, что страшно. И еще доношу, что куклы ваши здоровы и в целости. Им тоже скучно, что никто их не ломает. А еще доношу, что сегодня Арапка [едва оперившаяся канарейка], когда я вошел в игральную, сел сначала мне на плечо, а потом забрался на голову, и не успел я оглянуться, как он уже сходил. Вот так сюрприз. Что же касается до Крылатки, то она еще совсем голенькая, но мать начинает уже летать от нее. Ни конфет, ни апельсинов после вашего отъезда в Петербурге уж нет; все уехали следом за вами в Баден. Я думаю, что вы уж возобновили с ними знакомство. Будьте умники и учитесь. Пишите ко мне что вздумается, но непременно пишите. Я буду прятать ваши письма, и, когда вы будете большие, мы станем вместе их перечитывать. Целую вас обоих крепко-накрепко. Как только можно будет, прилечу. Не забывайте папу».

Глуховская история

Это очень необычная история, сюрреалистическая. То есть все ее элементы укоренены в реальности и даже срисованы с природы, но образуют такую же фантазмагорию, как в головоломной графике Эшера, живописи Дали, прозе Кэрролла. Все в ней – правда, и все – выдумка. А все вместе – историософский структурный анализ абсурда административных утопий и той почвы, на которой они произрастают, расцветают, лопаются и пожираются, в конце концов, апокалиптическим ОНО. В русской литературе такое «оно» встречалось разве что у Гоголя, да, может, у Державина («Река времен в своем стремлении / Уносит все дела людей...»).

Сам Салтыков на тогдашнем позитивистском языке попытался охарактеризовать свое ОНО так:

«Когда цикл явлений истощается, когда содержание жизни бледнеет, история гневно протестует против всех увещаний. Подобно горячей лаве проходит она по рядам измельчавшего, изверившегося и исстрадавшегося человечества, захлестывая на пути своем и правого и виноватого. И люди, и призраки поглощаются мгновенно, оставляя вместо себя голое поле. Это голое поле представляет истории прекрасный случай проложить для себя новое и притом более удобное ложе» (в статье «Современные призраки» 1863 года, за шесть лет до публикации первых глав «Истории одного города» в «Отечественных записках»).

Именно таков был итог предпринятого Угрюм-Бурчеевым героического «упразднения естества», разрушения старого Глухова, переименованного им в Непреклонск, и фатальной попытки «устранения реки», продиктованных жизнеотрицанием и подспудным стремлением к смерти (что не чуждо было и социализму советского образца, согласно академику-диссиденту Шафаревичу, с чем трудно не согласиться).

Но это все теория, а у Щедрина находим ее замечательный «фарш» и фейерверк совершенно неожиданных решений: про сломавшийся органчик или деликатесную начинку в головах градоначальников, про глуховские клоповный, блошинный и тараканий «заводы» по разведению оных, про коррупционера, что избежал казни, зарезавшись огурцом. Глава о семи пагубных днях безначалия и шести градоначальницах – блестящий очерк анатомии гражданской смуты, анархии, самоистребительной войны и одновременно – предельно остроумное и аппетитнейшее чтение для литературных гурманов. Список сюжетно разработанных русским сатириком тем мог бы составить краткую энциклопедию социальных заболеваний и эпидемий.

Глуховцы пребывают в пассивном залоге у собственной Истории. Только дважды они проявили инициативу: когда, будучи еще головотяпами, князя себе искали (предание Нестор-летописца о призвании варягов) и когда целую неделю предавались «бездельному и смеха достойному неистовству» (начав с самосудов и дойдя до совершенного умопомешательства и озверения). Их пластичность, легковерие и энтузиазм послушания, «беспрекословное исполнение того, чего не понимаешь», более всего удручали сатирика.

То невиданный голод у глуховцев, то неслыханный пожар, от которых никому никакой пользы и «сытости». То Бога они забудут и прилепятся к идолам – то вновь их в реку спустят, то ересь у них – то нескончаемая Масленица. «Войны за просвещение» в Глухове заканчиваются вместо учреждения Академии строительством очередного «съезжего дома» для арестантов, что проще и привычнее. Модернизация по-глуховски сводится к принудительному внедрению в рацион горчицы и прованского масла.

А ведь как сопротивлялось полвека российское крестьянство навязыванию картофеля, навсегда упразднившего репу на нашем столе. До бунтов доходило и войсковых карательных экспедиций. Но отберите-ка сегодня у русского человека картофанчик разваристый, с маслом и голландской селедочкой, да под водочку, и предложите репу взамен – бунта не мино-

вать! «Человек бунтует», – уважительно пишет Щедрин в таких случаях. А градоначальникам только того и надо: чтобы карась не дремал и жизнь малиной не казалась.

С возведением глуповцами собственной Вавилонской башни и завоевательными походами на соседнюю Византию – того хуже. В истории России бывали фантазеры и нечаянные сатирики покрупче Щедрина. Приведем фрагмент из рецензии в суворинском «Новом времени»:

«...Завоевания Византии г. Салтыков тоже коснулся, и довольно остроумно (“Войны за просвещение”), хотя, по правде сказать, сюжет этот достаточно исчерпан. Была другая фантазия, более дикая и нелепая, взлелеянная всесильным Платоном Зубовым после 1793 года [то есть как реакция на Великую французскую революцию]; фантазия эта сохранилась в собственноручных набросках знаменитого временщика: разграничив Европу, он присоединял к России все пространство до устьев Эльбы на севере и до Триеста на юге и назначал несколько российских столиц, в которых государи должны были жить по несколько месяцев в году; эти столицы были: Петербург, Москва, Ярославль, Астрахань, Берлин, Гамбург, Вена и еще что-то; извращенная фантазия и невежество всесильных россиян того времени не останавливались ни перед чем, подкрепляемые беглыми маркизами и другими представителями старого режима, устремившимися в Россию, как в землю обетованную». Ну как, впечатляет?

«История одного города» – сочинение несколько хаотическое, неоднородное, фрагментарное, с необязательными сносками и добавлениями, поскольку писалось оно и публиковалось по частям в тогдашней периодике. Поэтому в его книжном издании не все стыкуется и отсутствуют некоторые из обещанных глав. В частности, о последнем в «Описи градоначальников» майоре Архистратиге Перехват-Залихватском, что якобы «въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки», которых в нем отродясь не было. Зато побывало уже ОНО, после чего, как сказано, «История прекратила течение свое».

И тем не менее это великое произведение и исключительной ценности чтение для всякого мыслящего читателя. Оно пропитано насковозь отсылками и аллюзиями к Писанию (семь дней творения, скитания по пустыне, библейские напасти) и мифологии (Леда и Лебедь), к летописям (в присущем летописцам велеречивом стиле) и фольклору (настоящий пир известных и не очень русских идиом), к трудам российских историков и трактатам моралистов, к легендам о юродивых и старцах. И все это в пародийном ключе, что только повышает увлекательность чтения.

А еще оно похоже на ящик фокусника, из которого вдруг появляются какие-то вещи, которых Салтыков знать не мог и словно предвидел: о гегемонии демагогов и судилищах 1937 года, о генеральной линии партии и реванше ревизионистов, о восстании меньшинств и промывании мозгов пиарщиками, вплоть до споров об эвтаназии.

Чтобы не превратиться в очернительство и плоскую пропаганду, острая сатира обязана быть гротескной, подобной злему шаржу или талантливой карикатуре. Такова «История одного города» – сочинение эпическое, «былинное» и сказочное. Хотя бы потому, что вся художественная литература представляет собой в некотором смысле «сказки для взрослых», которые стоит научиться читать и не путать их никогда, подобно глуповцам, с действительностью.

Игорь Клев

История одного города

От издателя

Давно уже имел я намерение написать историю какого-нибудь города (или края) в данный период времени, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. Преимущественно же препятствовал недостаток в материале, сколько-нибудь достоверном и правдоподобном. Ныне, роюсь в глуповском городском архиве, я случайно напал на довольно объемистую связку тетрадей, носящих общее название «Глуповского Летописца», и, рассмотрев их, нашел, что они могут служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Содержание «Летописца» довольно однообразно; оно почти исключительно исчерпывается биографиями градоначальников, в течение почти целого столетия владевших судьбами города Глупова, и описанием замечательнейших их действий, как-то: скорой езды на почтовых, энергического взыскания недоимок, походов против обывателей, устройства и расстроя мостовых, обложения данями откупщиков и т. д. Тем не менее даже и по этим скудным фактам оказывается возможным уловить физиономию города и уследить, как в его истории отражались разнообразные перемены, одновременно происходившие в высших сферах. Так, например, градоначальники времен Бирона отличаются безрассудством, градоначальники времен Потемкина – распорядительностью, а градоначальники времен Разумовского – неизвестным происхождением и рыцарскою отвагою. Все они секут обывателей, но первые секут абсолютно, вторые объясняют причины своей распорядительности требованиями цивилизации, третьи желают, чтоб обыватели во всем положились на их отвагу. Такое разнообразие мероприятий, конечно, не могло не воздействовать и на самый внутренний склад обывательской жизни; в первом случае обыватели трепетали бессознательно, во втором – трепетали с сознанием собственной пользы, в третьем – возвышались до трепета, исполненного доверия. Даже энергическая езда на почтовых – и та неизбежно должна была оказывать известную долю влияния, укрепляя обывательский дух примерами лошадиной бодрости и нестомчивости.

Летопись ведена преемственно четырьмя городскими архивариусами и обнимает период времени с 1731 по 1825 год. В этом году, по-видимому, даже для архивариусов литературная деятельность перестала быть доступною. Внешность «Летописца» имеет вид самый настоящий, то есть такой, который не позволяет ни на минуту усомниться в его подлинности; листы его так же желты и испещрены каракулями, так же изъедены мышами и загажены мухами, как и листы любого памятника погодинского древлехранилища. Так и чувствуется, как сидел над ними какой-нибудь архивный Пимен, освещая свой труд трепетно горящею сальною свечкой и всячески защищая его от неминуемой любознательности гг. Шубинского, Мордовцева и Мельникова. Летописи предшествует особый свод, или «опись», составленная, очевидно, последним летописцем; кроме того, в виде оправдательных документов, к ней приложено несколько детских тетрадок, заключающих в себе оригинальные упражнения на различные темы административно-теоретического содержания. Таковы, например, рассуждения: «Об административном всех градоначальников единомыслии», «О благовидной градоначальников наружности», «О спасительности усмирений (с картинками)», «Мысли при взыскании недоимок», «Превратное течение времени» и, наконец, довольно объемистая диссертация «О строгости». Утверительно можно сказать, что упражнения эти обязаны своим происхождением перу различных градоначальников (многие из них даже подписаны) и имеют то драгоценное свойство, что, во-первых, дают совершенно верное понятие о современном положении русской орфографии и, во-вторых, живописуют своих авторов гораздо полнее, доказательнее и образнее, нежели даже рассказы «Летописца».

Что касается до внутреннего содержания «Летописца», то оно по преимуществу фантастическое и по местам даже почти невероятное в наше просвещенное время. Таков, например, совершенно ни с чем не сообразный рассказ о градоначальнике с музыкой. В одном месте «Летописец» рассказывает, как градоначальник летал по воздуху, в другом – как другой градоначальник, у которого ноги были обращены ступнями назад, едва не сбежал из пределов градоначальства. Издатель не счел, однако ж, себя вправе утаить эти подробности; напротив того, он думает, что возможность подобных фактов в прошедшем еще с большею ясностью укажет читателю на ту бездну, которая отделяет нас от него. Сверх того, издателем руководила и та мысль, что фантастичность рассказов нимало не устраняет их административно-воспитательного значения, и что опрометчивая самонадеянность летающего градоначальника может даже и теперь послужить спасительным предостережением для тех из современных администраторов, которые не желают быть преждевременно уволенными от должности.

Во всяком случае, в видах предотвращения злонамеренных толкований, издатель считает долгом оговориться, что весь его труд в настоящем случае заключается только в том, что он исправил тяжелый и устарелый слог «Летописца» и имел надлежащий надзор за орфографией, нимало не касаясь самого содержания летописи. С первой минуты до последней издателя не покидал грозный образ Михаила Петровича Погодина, и это одно уже может служить ручательством, с каким почтительным трепетом он относился к своей задаче.

Обращение к читателю От последнего архивариуса-летописца¹

Ежели древним еллинам и римлянам дозволено было слагать хвалу своим безбожным начальникам и предавать потомству мерзкие их деяния для назидания, ужели же мы, христиане, от Византии свет получившие, окажемся в сем случае менее достойными и благодарными? Ужели во всякой стране найдутся и Нероны преславные, и Калигулы, доблестью сияющие², и только у себя мы таковых не обрящем? Смешно и нелепо даже помыслить таковую нескладицу, а не то чтобы оную вслух проповедывать, как делают некоторые вольнолюбцы, которые потому свои мысли вольными полагают, что они у них в голове, словно мухи без пристанища, там и сям вольно летают.

Не только страна, но и град всякий, и даже всякая малая весь, – и та своих доблестью сияющих и от начальства поставленных Ахиллов имеет, и не иметь не может. Взгляни на первую лужу – и в ней найдешь гада, который иройством своим всех прочих гадов превосходит и затемняет. Взгляни на дерево – и там усмотришь некоторый сук больший и против других крепчайший, а следственно, и доблестнейший. Взгляни, наконец, на собственную свою персону – и там прежде всего встретишь главу, а потом уже не оставишь без приметы брюхо и прочие части. Что же, по-твоему, доблестнее: глава ли твоя, хотя и легкою начинкою начиненная, но и за всем тем горе устремляющаяся, или же стремящееся долу брюхо, на то только и пригодное, чтобы изготовлять... О, подлинно же легкодумное твое вольнодумство!

Таковы-то были мысли, которые побудили меня, смиренного городского архивариуса (получающего в месяц два рубля содержания, но и за всем тем славословящего), купно с троими моими предшественниками, неумытными устами воспеть хвалу славных оных Неронов³, кои не безбожием и лживою еллинскою мудростью, но твердостью и начальственным дерзновением преславный наш град Глупов преестественно украсили. Не имея дара стихослагательного, мы не решились прибегнуть к бряцанию и, положась на волю Божию, стали излагать достойные деяния недостойным, но свойственным нам языком, избегая лишь подлых слов. Думаю, впрочем, что таковая дерзостная наша затея простится нам ввиду того особого намерения, которое мы имели, приступая к ней.

Сие намерение – есть изобразить преемственно градоначальников, в город Глупов от российского правительства в разное время поставленных. Но, предпринимая столь важную материю, я, по крайней мере, не раз вопрошал себя: по силам ли будет мне сие время? Много видел я на своем веку поразительных сих подвижников, много видели таковых и мои предместники. Всего же числом двадцать два, следовавших непрерывно, в величественном порядке, один за другим, кроме семидневного пагубного безначалия, едва не повергшего весь град в запустение. Одни из них, подобно бурному пламени, пролетали из края в край, все очищая и обновляя; другие, напротив того, подобно ручью журчащему, орошали луга и пажити, а бурность и сокрушительность предоставляли в удел правителям канцелярии. Но все, как бурные, так и кроткие, оставили по себе благодарную память в сердцах сограждан, ибо все были градоначальники. Сие трогательное соответствие само по себе уже столь дивно, что немалое причи-

¹ «Обращение» это помещается здесь дострочно словами самого «Летописца». Издатель позволил себе наблюсти только за тем, чтобы права буквы ь не были слишком бесцеремонно нарушены. – Изд.

² Очевидно, что летописец, определяя качества этих исторических лиц, не имел понятия даже о руководствах, изданных для средних учебных заведений. Но страннее всего, что он был незнаком даже с стихами Державина: Калигула! твой конь в сенате Не мог сиять, сияя в злате: Сияют добрые дела! – Изд.

³ Опять та же прискорбная ошибка. – Изд.

няет летописцу беспокойство. Не знаешь, что более славословить: власть ли, в меру дерзающую, или сей виноград, в меру благодарящий?

Но сие же самое соответствие, с другой стороны, служит и не малым, для летописателя, облегчением. Ибо в чем состоит собственно задача его? В том ли, чтобы критиковать или порицать? – Нет, не в том. В том ли, чтобы рассуждать? – Нет, и не в этом. В чем же? – А в том, легкомудрый вольнодумец, чтобы быть лишь изобразителем означенного соответствия, и об оном предать потомству в надлежащее назидание.

В сем виде взятая, задача делается доступною даже смиреннейшему из смиренных, потому что он изображает собой лишь скудельный сосуд, в котором замыкается разлитое повсюду в избытии славословие. И чем тот сосуд скудельнее, тем краше и вкуснее покажется содержимая в нем сладкая славословная влага. А скудельный сосуд про себя скажет: вот и я на что-нибудь пригодился, хотя и получаю содержания два рубля медных в месяц!

Изложив таким манером нечто в свое извинение, не могу не присовокупить, что родной наш город Глупов, производя обширную торговлю квасом, печенкой и вареными яйцами, имеет три реки и, в согласность Древнему Риму, на семи горах построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается и столь же бесчисленно лошадей побивается. Разница в том только состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас – благочестие, Рим заражало буйство, а нас – кротость, в Риме бушевала подлая чернь, а у нас – начальники.

И еще скажу: летопись сию преемственно слагали четыре архивариуса: Мишка Тряпичкин, да Мишка Тряпичкин другой, да Митька Смирномордов, да я, смиренный Павлушка, Маслобойников сын. Причем единую имели опаску, дабы не попали наши тетрадки к г. Бартеневу, и дабы не напечатал он их в своем «Архиве». А за тем Богу слава и разглагольствию моему конец.

О корени происхождения глуповцев

«Не хочу я, подобно Костомарову, серым волком рыскать по земли, ни, подобно Соловьеву, шизым орлом ширять под облака, ни, подобно Пыпину, растекаться мыслью по древу, но хочу ущекотать прелюбезных мне глуповцев, показав миру их славные дела и предобрый тот корень, от которого знаменитое сие древо произросло и ветвями своими всю землю покрыло»⁴.

Так начинает свой рассказ летописец, и затем, сказав несколько слов в похвалу своей скромности, продолжает.

Был, говорит он, в древности народ, головотяпами именуемый, и жил он далеко на севере, там, где греческие и римские историки и географы предполагали существование Гиперборейского моря. Головотяпами же прозывались эти люди оттого, что имели привычку «тяпать» головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадетя – об стену тяпают; Богу молиться начнут – об пол тяпают. По соседству с головотяпами жило множество независимых племен, но только замечательнейшие из них поименованы летописцем, а именно: моржееды, лукоеды, гущееды, клюковники, куралесы, вертячие бобы, лягушечники, лапотники, чернонёбые, долбежники, проломленные головы, слепороды, губошлепы, вислоухие, кособрюхие, ряпушники, заугольники, крошевники и рукосуи. Ни вероисповедания, ни образа правления эти племена не имели, заменяя все сие тем, что постоянно враждовали между собою. Заключали союзы, объявляли войны, мирились, клялись друг другу в дружбе и верности, когда же лгали, то прибавляли «да будет мне стыдно», и были наперед уверены, что «стыд глаза не выест». Таким образом взаимно разорили они свои земли, взаимно надругались над своими женами и девами и в то же время гордились тем, что радушны и гостеприимны. Но когда дошли до того, что ободрали на лепешки кору с последней сосны, когда не стало ни жен, ни дев, и нечем было «людской завод» продолжать, тогда головотяпы первые взялись за ум. Поняли, что кому-нибудь да надо верх взять, и послали сказать соседям: будем друг с дружкой до тех пор головами тяпаться, пока кто кого перетяпает. «Хитро это они сделали, – говорит летописец, – знали, что головы у них на плечах растут крепкие – вот и предложили». И действительно, как только простодушные соседи согласились на коварное предложение, так сейчас же головотяпы их всех, с Божьею помощью, перетяпали. Первые уступили слепороды и рукосуи; больше других держались гущееды, ряпушники и кособрюхие. Чтобы одолеть последних, вынуждены были даже прибегнуть к хитрости. А именно: в день битвы, когда обе стороны встали друг против друга стеной, головотяпы, неуверенные в успешном исходе своего дела, прибегли к колдовству: пустили на кособрюхих солнышко. Солнышко-то и само по себе так стояло, что должно было светить кособрюхим в глаза, но головотяпы, чтобы придать этому делу вид колдовства, стали махать в сторону кособрюхих шапками: вот, дескать, мы каковы, и солнышко заодно с нами. Однако кособрюхие не сразу испугались, а сначала тоже догадались: высыпали из мешков толочно и стали ловить солнышко мешками. Но изловить не изловили, и только тогда, увидев, что правда на стороне головотяпов, принесли повинную.

Собрав воедино куралесов, гущеедов и прочие племена, головотяпы начали устраиваться внутри, с очевидною целью добиться какого-нибудь порядка. Истории этого устройства летописец подробно не излагает, а приводит из нее лишь отдельные эпизоды. Началось с того, что Волгу толочном замесили, потом теленка на баню тащили, потом в кошеле кашу варили, потом козла в соложенном тесте утопили, потом свинью за бобра купили, да собаку за волка убили, потом лапти растеряли да по дворам искали: было лаптей шесть, а сыскали семь; потом рака

⁴ Очевидно, летописец подражает здесь «Слову о полку Игореве». «Боян бо вещей, аще кому хотяше песнь творити, то растекашеся мыслью по древу, серым вълком по земли, шизым орлом под облака». И далее: «о, Бояне! соловию старого времени! Абы ты сии пълки ущекотал» и т. д. – *Изд.*

с колокольным звоном встречали, потом щуку с яиц согнали, потом комара за восемь верст ловить ходили, а комар у пошехонца на носу сидел, потом батьку на кобеля променяли, потом блинами острог конопатили, потом блоху на цепь приковали, потом беса в солдаты отдавали, потом небо кольями подпирали, наконец, утомились и стали ждать, что из этого выйдет.

Но ничего не вышло. Щука опять на яйца села; блины, которыми острог конопатили, арестанты съели; кошели, в которых кашу варили, сгорели вместе с кашею. А рознь да галденье пошли пуще прежнего: опять стали взаимно друг у друга земли разорять, жен в плен уводить, над девами ругаться. Нет порядку, да и полно. Попробовали снова головами тяпаться, но и тут ничего не доспели. Тогда надумали искать себе князя.

– Он нам все мигом предоставит, – говорил старец Добромысл, – он и солдатов у нас наделает, и острог, какой следует, выстроит! Айда, ребята!

Искали, искали они князя и чуть-чуть в трех соснах не заблудились, да спасибо случился тут пошехонец-слепород, который эти три сосны как свои пять пальцев знал. Он вывел их на торную дорогу и привел прямо к князю на двор.

– Кто вы такие? и зачем ко мне пожаловали? – спросил князь посланных.

– Мы головотяпы! нет нас в свете народа мудрее и храбрее! Мы даже кособрюхих и тех шапками закидали! – хвастали головотяпы.

– А что вы еще сделали?

– Да вот комара за семь верст ловили, – начали было головотяпы, и вдруг им сделалось так смешно, так смешно... Посмотрели они друг на дружку и прыснули.

– А ведь это ты, Пётра, комара-то ловить ходил! – насмеялся Ивашка.

– Ан ты!

– Нет, не я! у тебя он и на носу-то сидел!

Тогда князь, видя, что они и здесь, перед лицом его, своей розни не покидают, сильно распалился и начал учить их жезлом.

– Глупые вы, глупые! – сказал он. – Не головотяпами следует вам, по делам вашим, называться, а глуповцами! Не хочу я володеть глупыми! а ищите такого князя, какого нет в свете глупее – и тот будет володеть вами.

Сказавши это, еще маленько поучил жезлом и отослал головотяпов от себя с честью.

Задумались головотяпы над словами князя; всю дорогу шли и все думали.

– За что он нас раскастил? – говорили одни. – Мы к нему всей душой, а он послал нас искать князя глупого!

Но в то же время выискались и другие, которые ничего обидного в словах князя не видели.

– Что же! – возражали они. – Нам глупый-то князь, пожалуй, еще лучше будет! Сейчас мы ему коврижку в руки: жуй, а нас не замай!

– И то правда, – согласились прочие.

Воротились добры молодцы домой, но сначала решили опять попробовать устроиться сами собою. Петуха на канате кормили, чтоб не убежал, божку съели... Однако толку все не было. Думали-думали и пошли искать глупого князя.

Шли они по ровному месту три года и три дня, и всё никуда прийти не могли. Наконец, однако, дошли до болота. Видят, стоит на краю болота чухломец-рукосуй, рукавицы торчат за поясом, а он других ищет.

– Не знаешь ли, любезный рукосуюшко, где бы нам такого князя сыскать, чтобы не было его в свете глупее? – взмолились головотяпы.

– Знаю, есть такой, – отвечал рукосуй, – вот идите прямо через болото, как раз тут.

Бросились они все разом в болото, и больше половины их тут потопло («Многие за землю свою поревновали», говорит летописец); наконец вылезли из трясины и видят: на другом краю

болотины, прямо перед ними, сидит сам князь – да глупый-преглупый! Сидит и ест пряники писанные. Обрадовались головотяпы: вот так князь! лучшего и желать нам не надо!

– Кто вы такие? и зачем ко мне пожаловали? – молвил князь, жуя пряники.

– Мы головотяпы! нет нас народа мудрее и храбрее! Мы гущеедов – и тех победили! – хвастались головотяпы.

– Что же вы еще сделали?

– Мы щуку с яиц согнали, мы Волгу толокном замесили... – начали было перечислять головотяпы, но князь не захотел и слушать их.

– Я уж на что глуп, – сказал он, – а вы еще глупее меня! Разве щука сидит на яйцах? или можно разве вольную реку толокном месить? Нет, не головотяпами следует вам называться, а глуповцами! Не хочу я владеть вами, а ищите вы себе такого князя, какого нет в свете глупее, – и тот будет владеть вами!

И, наказав жезлом, отпустил с честью.

Задумались головотяпы: надул курицын сын рукосуй! Сказывал, нет этого князя глупее – ан он умный! Однако воротились домой и опять стали сами собой устраиваться. Под дождем онучи сушили, на сосну Москву смотреть лазили. И все нет как нет порядку, да и полно. Тогда надоумил всех Петра Комар.

– Есть у меня, – сказал он, – друг-приятель, по прозванию вор-новотор, уж если экая выжига князя не сыщет, так судите вы меня судом милостивым, рубите с плеч мою голову бесталанную!

С таким убеждением высказал он это, что головотяпы послушались и призвали новотора-вора. Долго он торговался с ними, просил за розыск алтын да деньгу, головотяпы же давали грош да животы свои в придачу. Наконец, однако, кое-как сладились и пошли искать князя.

– Ты нам такого ищи, чтоб немудрый был! – говорили головотяпы новотору-вору. – На что нам мудрого-то, ну его к ляду!

И повел их вор-новотор сначала все ельничком да березничком, потом чащей дремучею, потом перелесочком, да и вывел прямо на поляночку, а посередь той поляночки князь сидит.

Как взглянули головотяпы на князя, так и обмерли. Сидит, это, перед ними князь да умной-преумной; в ружьецо поपालивает да сабелькой помахивает. Что ни выпалит из ружьеца, то сердце насквозь прострелит, что ни махнет сабелькой, то голова с плеч долой. А вор-новотор, сделавши такое пакостное дело, стоит, брюхо поглаживает да в бороду усмежается.

– Что ты! с ума, никак, спятил! пойдет ли этот к нам? во сто раз глупее были, – и те не пошли! – напустились головотяпы на новотора-вора.

– Ништо! обладим! – молвил вор-новотор. – Дай срок, я глаз на глаз с ним слово пере-молвлю.

Видят головотяпы, что вор-новотор кругом на кривой их объехал, а на попятный уж не смеют.

– Это, брат, не то, что с «кособрюхими» лбами тятаться! нет, тут, брат, ответ подай: каков таков человек? какого чину и звания? – гуторят они меж собой.

А вор-новотор этим временем дошел до самого князя, снял перед ним шапочку соболиную и стал ему тайные слова на ухо говорить. Долго они шептались, а про что – не слышать. Только и почуяли головотяпы, как вор-новотор говорил: «Драть их, ваша княжеская светлость, завсегда очень свободно».

Наконец и для них настал черед встать перед ясные очи его княжеской светлости.

– Что вы за люди? и зачем ко мне пожаловали? – обратился к ним князь.

– Мы головотяпы! нет нас народа храбрее, – начали было головотяпы, но вдруг смутились.

– Слышал, господа головотяпы! – усмехнулся князь («и таково ласково усмехнулся, словно солнышко просияло!» – замечает летописец). – Весьма слышал! И о том знаю, как вы рака с колокольным звоном встречали – довольно знаю! Об одном не знаю, зачем же ко мне-то вы пожаловали?

– А пришли мы к твоей княжеской светлости вот что объявить: много мы промеж себя убивств чинили, много друг дружке разорений и наругательств делали, а все правды у нас нет. Иди и володей нами!

– А у кого, спрошу вас, вы допрежь сего из князей, братьев моих, с поклоном были?

– А были мы у одного князя глупого, да у другого князя глупого ж – и те володеть нами не похотели!

– Ладно. Володеть вами я желаю, – сказал князь, – а чтоб идти к вам жить – не пойду! Потому вы живете звериным обычаем: с беспробного золота пенки снимаете, снох портите! А вот посылаю к вам, вместо себя, самого этого новотора-вора: пуцай он вами дома правит, а я отсель и им и вами помыкать буду!

Понурили головотяпы головы и сказали:

– Так!

– И будете вы платить мне дани многие, – продолжал князь, – у кого овца ярку принесет, овцу на меня отпиши, а ярку себе оставь; у кого грош случится, тот разломи его начетверо: одну часть мне отдай, другую мне же, третью опять мне, а четвертую себе оставь. Когда же пойду на войну – и вы идите! А до прочего вам ни до чего дела нет!

– Так! – отвечали головотяпы.

– И тех из вас, которым ни до чего дела нет, я буду миловать; прочих же всех – казнить.

– Так! – отвечали головотяпы.

– А как не умели вы жить на своей воле и сами, глупые, пожелали себе кабалы, то называться вам впредь не головотяпами, а глуповцами.

– Так! – отвечали головотяпы.

Затем приказал князь обнести послов водкою да одарить по пирогу, да по платку алому, и, обложив даяниями многими, отпустил от себя с честью.

Шли головотяпы домой и воздыхали. «Воздыхали не ослабляючи, вопияли сильно!» – свидетельствует летописец. «Вот она, княжеская правда какова!» – говорили они. И еще говорили: «Такали мы, такали, да и профакали!» Один же из них, взяв гусли, запел:

Не шуми, мати зелена дубровушка!
Не мешай добру молодцу думу думати,
Как заутра мне, добру молодцу, на допрос идти
Перед грозного судью, самого царя...

Чем далее лилась песня, тем ниже понуривались головы головотяпов. «Были между ними, – говорит летописец, – старики седые и плакали горько, что сладкую волю свою прогуляли; были и молодые, кои той воли едва отведали, но и те тоже плакали. Тут только познали все, какова такова прекрасная воля есть». Когда же раздались заключительные стихи песни:

Я за то тебя, детинушку, пожалую
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя столбами с перекладиною...

то все пали ниц и зарыдали.

Но драма уже совершилась бесповоротно. Прибывши домой, головотяпы немедленно выбрали болотину и, заложив на ней город, назвали Глуповым, а себя по тому городу глуповцами. «Так и процвела сия древняя отрасль», – прибавляет летописец.

Но вору-новотору эта покорность была не по нраву. Ему нужны были бунты, ибо усмирением их он надеялся и милость князя себе снискать, и собрать хабару с бунтующих. И начал он донимать глуповцев всякими неправдами, и действительно, не в долгом времени возжег бунты. Взбунтовались сперва заугольники, а потом сычужники. Вор-новотор ходил на них с пушечным снарядом, палил неослабляючи и, перепалив всех, заключил мир, то есть у заугольников ел палтусину, у сычужников – сычуги. И получил от князя похвалу великую. Вскоре, однако, он до того проворовался, что слухи об его несытом воровстве дошли даже до князя. Распалился князь крепко и послал неверному рабу петлю. Но новотор, как сущий вор, и тут извернулся: предварил казнь тем, что, не выждав петли, зарезался огурцом.

После новотора-вора пришел «заместь князя» одоевец, тот самый, который «на грош постных яиц купил». Но и он догадался, что без бунтов ему не жизнь, и тоже стал донимать. Поднялись кособрюхие, калашники, соломятники – все отстаивали старину да права свои. Одоевец пошел против бунтовщиков, и тоже начал неослабно палить, но, должно быть, палил зря, потому что бунтовщики не только не смирились, но увлекли за собой чернонёбых и губошлепов. Услыхал князь бестолковую пальбу бестолкового одоевца и долго терпел, но напоследок не стерпел: вышел против бунтовщиков собственной персоною и, перепалив всех до единого, возвратился восвоюси.

– Посылал я сущего вора – оказался вор, – печаловался при этом князь, – посылал одоевца по прозванию «продай на грош постных яиц» – и тот оказался вор же. Кого пошлю ныне?

Долго раздумывал он, кому из двух кандидатов отдать преимущество: орловцу ли – на том основании, что «Орел да Кромы – первые воры» – или шуянину, на том основании, что он «в Питере бывал, на полу сыпал, и тут не упал», но, наконец, предпочел орловца, потому что он принадлежал к древнему роду «Проломленных Голов». Но едва прибыл орловец на место, как встали бунтом старичане и, вместо воеводы, встретили с хлебом с солью петуха. Поехал к ним орловец, надеясь в Старице стерлядьми полакомиться, но нашел, что там «только грязи довольно». Тогда он Старицу сжег, а жен и дев старицких отдал самому себе на поругание. «Князь же, уведав о том, урезал ему язык».

Затем князь еще раз попробовал послать «вора попроще», и в этих соображениях выбрал калязинца, который «свинью за бобра купил», но этот оказался еще пушчим воровом, нежели новотор и орловец. Взбунтовал семендяевцев и заозерцев и «убив их, сжег». Тогда князь выпучил глаза и воскликнул:

– Несть глупости горшия, яко глупость!

И прибух собственной персоною в Глупов и возопи:

– Запорю!

С этим словом начались исторические времена.

Опись градоначальникам в разное время в город Глупов от вышнего начальства поставленным (1731–1826)

1) **Клементий**, Амадей Мануйлович. Вывезен из Италии Бироном, герцогом Курляндским, за искусную стряпню макарон; потом, будучи внезапно произведен в надлежащий чин, прислан градоначальником. Прибыв в Глупов, не только не оставил занятия макаронами, но даже многих усиленно к тому принуждал, чем себя и воспрославил. За измену бит в 1734 году кнутом и, по вырвании ноздрей, сослан в Березов.

2) **Ферапонтов**, Фотий Петрович, бригадир. Бывший брадобрей оного же герцога Курляндского. Многократно делал походы против недоимщиков и столь был охоч до зрелищ, что никому без себя сечь не доверял. В 1738 году, быв в лесу, растерзан собаками.

3) **Великанов**, Иван Матвеевич. Обложил в свою пользу жителей данью по три копейки с души, предварительно утопив в реке экономии директора. Перебил в кровь многих капитан-исправников. В 1740 году, в царствование кроткия Елисавет, был уличен в любовной связи с Авдотьей Лопухиной, бит кнутом и, по урезании языка, сослан в заточение в чердынский острог.

4) **Урус-Кугуш-Кильдибаев**, Маныл Самылович, капитан-поручик из лейб-кампанцев. Отличался безумной отвагой, и даже брал однажды приступом город Глупов. По доведении о сем до сведения, похвалы не получил и в 1745 году уволен с распубликованием.

5) **Ламврокакис**, беглый грек, без имени и отчества, и даже без чина, пойманный графом Кирилою Разумовским в Нежине, на базаре. Торговал греческим мылом, губкою и орехами; сверх того, был сторонником классического образования. В 1756 году был найден в постели, заеденный клопами.

6) **Баклан**, Иван Матвеевич, бригадир. Был роста трех аршин и трех вершков, и кичился тем, что происходит по прямой линии от Ивана Великого (известная в Москве колокольня). Переломлен пополам во время бури, свирепствовавшей в 1761 году.

7) **Пфейфер**, Богдан Богданович, гвардии сержант, голштинский выходец. Ничего не свершив, сменен в 1762 году за невежество.

8) **Брудастый**, Дементий Варламович. Назначен был впопыхах и имел в голове некоторое особое устройство, за что и прозван был «Органчиком». Это не мешало ему, впрочем, привести в порядок недоимки, запущенные его предместником. Во время сего правления произошло пагубное безначалие, продолжавшееся семь дней, как о том будет повествуемо ниже.

9) **Двоекуров**, Семен Константинович, штатский советник и кавалер. Вымостил Большую и Дворянскую улицы, завел пивоварение и медоварение, ввел в употребление горчицу и лавровый лист, собрал недоимки, покровительствовал наукам и ходатайствовал о заведении в Глупове академии. Написал сочинение: «Жизнеописания замечательнейших обезьян». Будучи крепкого телосложения, имел последовательно восемь амант. Супруга его, Лукерья Терентьевна, тоже была весьма снисходительна, и тем много способствовала блеску сего правления. Умер в 1770 году своею смертью.

10) **Маркиз де Санглот**, Антон Протасьевич, французский выходец и друг Дидерота. Отличался легкомыслием и любил петь непристойные песни. Летал по воздуху в городском саду и чуть было не улетел совсем, как зацепился фалдами за шпиц, и оттуда с превеликим

трудом снят. За эту затею уволен в 1772 году, а в следующем же году, не уныв духом, давал представления у Излера на минеральных водах⁵.

11) **Фердыщенко**, Петр Петрович, бригадир. Бывший денщик князя Потемкина. При не весьма обширном уме, был косноязычен. Недоимки запустил; любил есть буженину и гуся с капустой. Во время его градоначальствования город подвергся голоду и пожару. Умер в 1779 году от объедения.

12) **Бородавкин**, Василиск Семенович. Градоначальничество сие было самое продолжительное и самое блестящее. Предводительствовал в кампании против недоимщиков, причем спалил тридцать три деревни и, с помощью сих мер, взыскал недоимок два рубля с полтиною. Ввел в употребление игру ламуш и прованское масло; замостил базарную площадь и засадил березками улицу, ведущую к присутственным местам; вновь ходатайствовал о заведении в Глупове академии, но, получив отказ, построил съезжий дом. Умер в 1798 году, на экзекуции, напутствуемый капитан-исправником.

13) **Негодяев**, Онуфрий Иванович, бывший гатчинский истопник. Разместил вымощенные предместниками его улицы и из добытого камня настроил монументов. Сменен в 1802 году за несогласие с Новосильцевым, Чарторыйским и Строгоновым (знаменитый в свое время триумвират) насчет конституций, в чем его и оправдали последствия.

14) **Микаладзе**, князь Ксаверий Георгиевич, черкашенин, потомок сладострастной княгини Тамары. Имел обольстительную наружность, и был столь охоч до женского пола, что увеличил глуповское народонаселение почти вдвое. Оставил полезное по сему предмету руководство. Умер в 1814 году от истощения сил.

15) **Беневоленский**, Феофилакт Иринархович, статский советник, товарищ Сперанского по семинарии. Был мудр и оказывал склонность к законодательству. Предсказал гласные суды и земство. Имел любовную связь с купчихою Распоповою, у которой, по субботам, едал пироги с начинкой. В свободное от занятий время сочинял для городских попов проповеди и переводил с латинского сочинения Фомы Кемпийского. Вновь ввел в употребление, яко полезные, горчицу, лавровый лист и прованское масло. Первый обложил данью откуп, от коего и получал три тысячи рублей в год. В 1811 году, за потворство Бонапарту, был призван к ответу и сослан в заточение.

16) **Прыщ**, майор, Иван Пантелеич. Оказался с фаршированной головой, в чем и уличен местным предводителем дворянства.

17) **Иванов**, статский советник, Никодим Осипович. Был столь малого роста, что не мог вмещать пространных законов. Умер в 1819 году от натуги, усиливаясь постичь некоторый сенатский указ.

18) **Дю Шарьо**, виконт, Ангел Дорозеевич, французский выходец. Любил рядиться в женское платье и лакомился лягушками. По рассмотрении, оказался девицею. Выслан в 1821 году за границу.

20) **Грустилов**, Эраст Андреевич, статский советник. Друг Карамзина. Отличался нежностью и чувствительностью сердца, любил пить чай в городской роще и не мог без слез видеть, как токуют тетерева. Оставил после себя несколько сочинений идиллического содержания и умер от меланхолии в 1825 году. Дань с откупа возвысил до пяти тысяч рублей в год.

21) **Угрюм-Бурчеев**, бывшй прохвост. Разрушил старый город и построил другой на новом месте.

22) **Перехват-Залихватский**, Архистратиг Стратилатович, майор. О сем умолчу. Въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки.

⁵ Это очевидная ошибка. – *Изд.*

Органчик⁶

В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычное движение по случаю прибытия нового градоначальника, Дементия Варламовича Брудастого. Жители ликовали; еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его «красавчиком» и «умницей». Поздравляли друг друга с радостью, целовались, проливали слезы, заходили в кабаки, снова выходили из них, и опять заходили. В порыве восторга вспомнились и старинные глуповские вольности. Лучшие граждане собрались перед соборной колокольней и, образовав всенародное вече, потрясли воздух восклицаниями: батюшка-то наш! красавчик-то наш! умница-то наш!

Явились даже опасные мечтатели. Руководимые не столько разумом, сколько движениями благодарного сердца, они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля, и что, под наблюдением квартальных надзирателей, возникнут науки и искусства. Не удержались и от сравнений. Вспомнили только что выехавшего из города старого градоначальника, и находили, что хотя он тоже был красавчик и умница, но что, за всем тем, новому правителю уже по тому одному должно быть отдано преимущество, что он новый. Одним словом, при этом случае, как и при других подобных, вполне выразились: и обычная глуповская восторженность, и обычное глуповское легкомыслие.

Между тем новый градоначальник оказался молчалив и угрюм. Он прискакал в Глупов, как говорится, во все лопатки (время было такое, что нельзя было терять ни одной минуты), и едва вломился в пределы городского выгона, как тут же, на самой границе, пересек уйму ямщиков. Но даже и это обстоятельство не охладило восторгов обывателей, потому что умы еще были полны воспоминаниями о недавних победах над турками, и все надеялись, что новый градоначальник во второй раз возьмет приступом крепость Хотин.

Скоро, однако ж, обыватели убедились, что ликования и надежды их были, по малой мере, преждевременны и преувеличенны. Произошел обычный прием, и тут в первый раз в жизни пришлось глуповцам на деле изведать, каким горьким испытаниям может быть подвергнуто самое упорное начальстволюбие. Все на этом приеме совершилось как-то загадочно. Градоначальник безмолвно обошел ряды чиновных архистратигов, сверкнул глазами, произнес: «Не потерплю!» – и скрылся в кабинет. Чиновники остолбенели; за ними остолбенели и обыватели.

Несмотря на непреодолимую твердость, глуповцы – народ изнеженный и до крайности набалованный. Они любят, чтоб у начальника на лице играла приветливая улыбка, чтобы из уст его, по временам, исходили любезные прибаутки, и недоумевают, когда уста эти только фыркают или издают загадочные звуки. Начальник может совершать всякие мероприятия, он может даже никаких мероприятий не совершать, но ежели он не будет при этом калякать, то имя его никогда не сделается популярным. Бывали градоначальники истинно мудрые, такие, которые не чужды были даже мысли о заведении в Глупове академии (таков, например, штатский советник Двоекуров, значащийся по «описи» под № 9), но так как они не обзывали глуповцев ни «братцами», ни «ребятами», то имена их остались в забвении. Напротив того, бывали другие, хотя и не то чтобы очень глупые – таких не бывало, – а такие, которые делали дела средние, то есть секли и взыскивали недоимки, но так как они при этом всегда приговаривали что-нибудь любезное, то имена их не только были занесены на скрижали, но даже послужили предметом самых разнообразных устных легенд.

⁶ По «Краткой описи» значится под № 8. Издатель нашел возможным не придерживаться строго хронологического порядка при ознакомлении публики с содержанием «Летописца». Сверх того, он счел за лучшее представить здесь биографии только замечательнейших градоначальников, так как правители не столь замечательные достаточно характеризуются предшествующею настоящею очерку «Краткою описью». – Изд.

Так было и в настоящем случае. Как ни воспламенились сердца обывателей по случаю приезда нового начальника, но прием его значительно расхолодил их.

– Что ж это такое! – фыркнул – и затылок показал! нешто мы затылков не видали! а ты по душе с нами поговори! ты лаской-то, лаской-то принимай! ты пригрозить-то пригрозил, да потом и помилуй! – Так говорили глуповцы, и со слезами припоминали, какие бывали у них прежде начальники, всё приветливые, да добрые, да красавчики – и все-то в мундирах! Вспомнили даже беглого грека Ламврокакиса (по «описи» под № 5), вспомнили, как приехал в 1756 году бригадир Баклан (по «описи» под № 6), и каким молодцом он на первом же приеме выказал себя перед обывателями.

– Натиск, – сказал он, – и притом быстрота, снисходительность, и притом строгость. И притом благоразумная твердость. Вот, милостивые государи, та цель или, точнее сказать, те пять целей, которых я, с Божьею помощью, надеюсь достигнуть при посредстве некоторых административных мероприятий, составляющих сущность или, лучше сказать, ядро обдуманного мною плана кампании!

И как он потом, ловко повернувшись на одном каблуке, обратился к городскому голове и присовокупил:

– А по праздникам будем есть у вас пироги!

– Так вот, сударь, как настоящие-то начальники принимали! – вздыхали глуповцы. – А этот что! фыркнул какую-то нелепицу, да и был таков!

Увы! последующие события не только оправдали общественное мнение обывателей, но даже превзошли самые смелые их опасения. Новый градоначальник заперся в своем кабинете, не ел, не пил и все что-то скреб пером. По временам он выбегал в зал, кидал письмоводителю кипу исписанных листков, произносил: «Не потерплю!» – и вновь скрывался в кабинете. Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города; частные пристава поскакали; квартальные поскакали; заседатели поскакали; будочники позабыли, что значит путем поесть, и с тех пор приобрели пагубную привычку хватать куски на лету. Хватают и ловят, секут и порют, описывают и продают... А градоначальник все сидит, и выскребает всё новые и новые понуждения... Гул и треск проносятся из одного конца города в другой, и над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы, царит злое: «Не потерплю!»

Глуповцы ужаснулись. Припомнили генеральное сечение ямщиков, и вдруг всех озарила мысль: а ну, как он таким манером целый город выпорет! Потом стали соображать, какой смысл следует придавать слову «не потерплю!» – наконец, прибегли к истории Глупова, стали отыскивать в ней примеры спасительной градоначальнической строгости, нашли разнообразие изумительное, но ни до чего подходящего все-таки не доискались.

– И хоть бы он делом сказывал, по скольку с души ему надобно! – беседовали между собой смущенные обыватели. – А то цыркает, да на-поди!

Глупов, беспечный, добродушно-веселый Глупов, приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами домов, умолкло шелканье подсолнухов, нет игры в бабки! Улицы запустели, на площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои, и на мгновение показавши испуганные и изнуренные лица, тотчас же хоронились. Нечто подобное было, по словам старожил, во времена тушинского царика, да еще при Бироне, когда гулящая девка, Танька Корявая, чуть-чуть не подвела всего города под экзекуцию. Но даже и тогда было лучше; по крайней мере, тогда хоть что-нибудь понимали, а теперь чувствовали только страх, злое и безотчетный страх.

В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов, и без того мало оживленный, окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распушенности нравов; густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал, далеко за полночь, злое свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как градоначаль-

ник сидит, согнувшись, за письменным столом, и все что-то скребет пером... И вдруг подойдет к окну, крикнет «не потерплю!» – и опять садится за стол, и опять скребет...

Начали ходить безобразные слухи. Говорили, что новый градоначальник совсем даже не градоначальник, а оборотень, присланный в Глупов по легкомыслию; что он по ночам, в виде ненасытного упыря, парит над городом и сосет у сонных обывателей кровь. Разумеется, все это повествовалось и передавалось друг другу шепотом; хотя же и находились смельчаки, которые предлагали поголовно пасть на колена и просить прощенья, но и тех взяло раздумье. А что, если это так именно и надо? что, ежели признано необходимым, чтобы в Глупове, грех его ради, был именно такой, а не иной градоначальник? Соображения эти показались до того резонными, что храбрецы не только отреклись от своих предложений, но тут же начали попрекать друг друга в смутьянстве и подстрекательстве.

И вдруг всем сделалось известным, что градоначальника секретно посещает часовых и органных дел мастер Байбаков. Достоверные свидетели сказывали, что однажды, в третьем часу ночи, видели, как Байбаков, весь бледный и испуганный, вышел из квартиры градоначальника и бережно нес что-то обернутое в салфетке. И что всего замечательнее, в эту достопамятную ночь никто из обывателей не только не был разбужен криком «не потерплю!», но и сам градоначальник, по-видимому, прекратил на время критический анализ недоимочных реестров⁷ и погрузился в сон.

Возник вопрос: какую надобность мог иметь градоначальник в Байбакове, который, кроме того что пил без просыпа, был еще и явный прелюбодей?

Начались подвохи и подсылы с целью выведать тайну, но Байбаков оставался нем как рыба, и на все увещания ограничивался тем, что трясся всем телом. Пробовали спить его, но он, не отказываясь от водки, только потел, а секрета не выдавал. Находившиеся у него в ученье мальчишки могли сообщить одно: что действительно приходил однажды ночью полицейский солдат, взял хозяина, который через час возвратился с узелком, заперся в мастерской и с тех пор затосковал.

Более ничего узнать не могли. Между тем таинственные свидания градоначальника с Байбаковым участились. С течением времени Байбаков не только перестал тосковать, но даже до того осмелился, что самому градскому голове посулил отдать его без зачета в солдаты, если он каждый день не будет выдавать ему на шкалик. Он сшил себе новую пару платья и хвастался, что на днях откроет в Глупове такой магазин, что самому Винтергальтеру⁸ в нос бросится.

Среди всех этих толков и пересудов, вдруг как с неба упала повестка, приглашавшая именитейших представителей глуповской интеллигенции, в такой-то день и час, прибыть к градоначальнику для внушения. Именитые смутились, но стали готовиться.

То был прекрасный весенний день. Природа ликовала; воробьи чирикали; собаки радостно взвизгивали и виляли хвостами. Обыватели, держа под мышками кульки, теснились на дворе градоначальнической квартиры и с трепетом ожидали страшного судбища. Наконец ожидаемая минута настала.

Он вышел, и на лице его в первый раз увидели глуповцы ту приветливую улыбку, о которой они тосковали. Казалось, благотворные лучи солнца подействовали и на него (по крайней мере, многие обыватели потом уверяли, что собственными глазами видели, как у него тряслись фалдочки). Он по очереди обошел всех обывателей, и хотя молча, но благосклонно принял от них все, что следует. Окончивши с этим делом, он несколько отступил к крыльцу и раскрыл рот... И вдруг что-то внутри у него зашипело и зажужжало, и чем более длилось это таинствен-

⁷ Очевидный анахронизм. В 1762 году недоимочных реестров не было, а просто взыскивались деньги, сколько с кого надлежит. Не было, следовательно, и критического анализа. Впрочем, это скорее не анахронизм, а прозорливость, которую летописец, по местам, обнаруживает в столь сильной степени, что читателю делается даже не совсем ловко. Так, например (мы увидим это далее), он провидел изобретение электрического телеграфа и даже учреждение губернских правлений. – *Изд.*

⁸ Новый пример прозорливости. Винтергальтера в 1762 году не было. – *Изд.*

ное шипение, тем сильнее и сильнее вертелись и сверкали его глаза. «П...п...плю!» наконец вырвалось у него из уст... С этим звуком он в последний раз сверкнул глазами и опрометью бросился в открытую дверь своей квартиры.

Читая в «Летописце» описания происшествя столь неслыханного, мы, свидетели и участники иных времен и иных событий, конечно, имеем полную возможность отнести к нему хладнокровно. Но перенесемся мыслью за сто лет тому назад, поставим себя на место достославных наших предков, и мы легко поймем тот ужас, который долженствовал обуять их при виде этих вращающихся глаз и этого раскрытого рта, из которого ничего не выходило, кроме шипения и какого-то бессмысленного звука, непохожего даже на бой часов. Но в том-то именно и заключалась доброкачественность наших предков, что, как ни потрясло их описанное выше зрелище, они не увлеклись ни модными в то время революционными идеями, ни соблазнами, представляемыми анархией, но остались верными начальстволюбью, и только слегка позволили себе пособлезновать и попенять на своего более чем странного градоначальника.

– И откуда к нам экой прохвост выискался! – говорили обыватели, изумленно вопрошая друг друга и не придавая слову «прохвост» никакого особенного значения.

– Смотри, братцы! как бы нам тово... отвечать бы за него, за прохвоста, не пришлось! – присовокупляли другие.

И за всем тем спокойно разошлись по домам и предались обычным своим занятиям.

И остался бы наш Брудастый на многие годы пастырем вертограда сего, и радовал бы сердца начальников своею распорядительностью, и не ощутили бы обыватели в своем существовании ничего необычайного, если бы обстоятельство совершенно случайное (простая оплошность) не прекратило его деятельность в самом ее разгаре.

Немного спустя после описанного выше приема письмоводитель градоначальника, вошедши утром с докладом в его кабинет, увидел такое зрелище: градоначальниково тело, облеченное в вицмундир, сидело за письменным столом, а перед ним, на кипе недоимочных реестров, лежала, в виде шегольского пресс-папье, совершенно пустая градоначальникова голова... Письмоводитель выбежал в таком смятении, что зубы его стучали.

Побежали за помощником градоначальника и за старшим квартальным. Первый прежде всего напустился на последнего, обвинил его в нерадивости, в потворстве наглому насилию, но квартальный оправдался. Он не без основания утверждал, что голова могла быть опорожнена не иначе как с согласия самого же градоначальника, и что в деле этом принимал участие человек, несомненно принадлежащий к ремесленному цеху, так как на столе, в числе вещественных доказательств, оказались: долото, буравчик и английская пила. Призвали на совет главного городского врача и предложили ему три вопроса: 1) могла ли градоначальникова голова отделиться от градоначальникова туловища без кровоизлияния? 2) возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову? и 3) возможно ли предположить, чтобы градоначальническая голова, однажды упраздненная, могла впоследствии нарасти вновь с помощью какого-либо неизвестного процесса? Эскулап задумался, пробормотал что-то о каком-то «градоначальническом веществе», якобы источающемся из градоначальнического тела, но потом, видя сам, что зарапоровался, от прямого разрешения вопросов уклонился, отзываясь тем, что тайна построения градоначальнического организма наукой достаточно еще не обследована⁹.

Выслушав такой уклончивый ответ, помощник градоначальника стал в тупик. Ему предстояло одно из двух: или немедленно рапортовать о случившемся по начальству и между тем начать под рукой следствие, или же некоторое время молчать и выжидать, что будет. Ввиду

⁹ Ныне доказано, что тела всех вообще начальников подчиняются тем же физиологическим законам, как и всякое другое человеческое тело, но не следует забывать, что в 1762 году наука была в младенчестве. – *Изд.*

таких затруднений он избрал средний путь, то есть приступил к дознанию, и в то же время всем и каждому наказал хранить по этому предмету глубочайшую тайну, дабы не волновать народ и не поселить в нем несбыточных мечтаний.

Но как ни строго хранили будочники вверенную им тайну, неслыханная весть об упразднении градоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. Из обывателей многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами, и сверх того боялись подпасть под ответственность за то, что повиновались такому градоначальнику, у которого на плечах, вместо головы, была пустая посудина. Напротив, другие хотя тоже плакали, но утверждали, что за повиновение их ожидает не кара, а похвала.

В клубе, вечером, все наличные члены были в сборе. Волновались, толковали, припоминали разные обстоятельства и находили факты свойства довольно подозрительного. Так, например, заседатель Толковников рассказал, что однажды он вошел врасплох в градоначальнический кабинет по весьма нужному делу и застал градоначальника играющим своею собственною головою, которую он, впрочем, тотчас же поспешил пристроить к надлежащему месту. Тогда он не обратил на этот факт надлежащего внимания, и даже счел его игрою воображения, но теперь ясно, что градоначальник, в видах собственного облегчения, по временам снимал с себя голову и вместо нее надевал ермолку, точно так как соборный протоиерей, находясь в домашнем кругу, снимает с себя камилавку и надевает колпак. Другой заседатель, Младенцев, вспомнил, что однажды, идя мимо мастерской часовщика Байбакова, он увидел в одном из ее окон градоначальникову голову, окруженную слесарным и столярным инструментом. Но Младенцеву не дали докончить, потому что, при первом упоминании о Байбакове, всем пришлось на память его странное поведение и таинственные ночные походы его в квартиру градоначальника...

Тем не менее из всех этих рассказов никакого ясного результата не выходило. Публика начала даже склоняться в пользу того мнения, что вся эта история есть не что иное, как выдумка праздных людей, но потом, припомнив лондонских агитаторов¹⁰ и переходя от одного силлогизма к другому, заключила, что измена свила себе гнездо в самом Глупове. Тогда все члены заволновались, зашумели и, пригласив зрителя народного училища, предложили ему вопрос: бывали ли в истории примеры, чтобы люди распоряжались, вели войны и заключали трактаты, имея на плечах порожний сосуд? Зритель подумал с минуту и отвечал, что в истории многое покрыто мраком; но что был, однако же, некто Карл Простодушный, который имел на плечах хотя и не порожний, но все равно как бы порожний сосуд, а войны вел и трактаты заключал.

Покуда шли эти толки, помощник градоначальника не дремал. Он тоже вспомнил о Байбакове и немедленно потянул его к ответу. Некоторое время Байбаков запирался и ничего, кроме «знать не знаю, ведать не ведаю», не отвечал, но когда ему предъявили найденные на столе вещественные доказательства и, сверх того, пообещали полтинник на водку, то вразумился и, будучи грамотным, дал следующее показание:

«Василием зовут меня, Ивановым сыном, по прозванию Байбаковым. Глуповский цеховой; у исповеди и святого причастия не бываю, ибо принадлежу к секте фармазонов, и есмь оной секты лжеиерей. Судился за сожитие вне брака с слободской женкой Матренкой, и признан по суду явным прелюбодеем, в каковом звании и поныне состою. В прошлом году, зимой, – не помню, какого числа и месяца, – был разбужен в ночи, отправился я, в сопровождении полицейского десятского, к градоначальнику нашему, Дементию Варламовичу, и, пришед, застал его сидящим и головою то в ту, то в другую сторону мерно помавающим. Обеспамятев от страха и притом будучи отягощен спиртными напитками, стоял я безмолвен у порога, как вдруг господин градоначальник поманили меня рукою к себе и подали мне бумажку. На бумажке

¹⁰ Даже и это предвидел «Летописец»! – *Изд.*

я прочитал: «Не удивляйся, но попорченное исправь». После того господин градоначальник сняли с себя собственную голову и подали ее мне. Рассмотрев ближе лежащий предо мной ящик, я нашел, что он заключает в одном углу небольшой органчик, могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы. Пьес этих было две: «Разорю!» и «Не потерплю!». Но так как в дороге голова несколько отсырела, то на валике некоторые колки расшатались, а другие и совсем выпали. От этого самого господина градоначальника не могли говорить внятно или же говорили с пропуском букв и слогов. Заметив в себе желание исправить эту погрешность и получив на то согласие господина градоначальника, я с должным рачением завернул голову в салфетку и отправился домой. Но здесь я видел, что напрасно понадеялся на свое усердие, ибо как ни старался я выпавшие колки утвердить, но столь мало успел в своем предприятии, что при малейшей неосторожности или простуде колки вновь вываливались, и в последнее время господин градоначальник могли произнести только: п-плю! В сей крайности, вознамерились они сгоряча меня на всю жизнь несчастным сделать, но я тот удар отклонил, предложивши господину градоначальнику обратиться за помощью в Санкт-Петербург, к часовых и органных дел мастеру Винтергальтеру, что и было ими выполнено в точности. С тех пор прошло уже довольно времени, в продолжение коего я ежедневно рассматривал градоначальниково голову и вычищал из нее сор, в каковом занятии пребывал и в то утро, когда ваше высокоблагородие, по оплошности моей, законфисковали принадлежащий мне инструмент. Но почему заказанная у господина Винтергальтера новая голова до сих пор не прибывает, о том неизвестен. Полагаю, впрочем, что за разлитием рек, по весеннему нынешнему времени, голова сия и ныне находится где-либо в бездействии. На спрашивание же вашего высокоблагородия о том, во-первых, могу ли я, в случае присылки новой головы, оную утвердить, и, во-вторых, будет ли та утвержденная голова исправно действовать? ответственность сим честь имею: утвердить могу и действовать она будет, но настоящих мыслей иметь не может. К сему показанию явный предлюбодей Василий Иванов Байбаков рuku приложил».

Выслушав показание Байбакова, помощник градоначальника сообразил, что ежели однажды допущено, чтобы в Глупове был городничий, имеющий вместо головы простую укладку, то, стало быть, это так и следует. Поэтому он решился выждать, но в то же время послал к Винтергальтеру понудительную телеграмму¹¹ и, запев градоначальниково тело на ключ, устремил всю свою деятельность на успокоение общественного мнения.

Но все ухищрения оказались уже тщетными. Прошло после того и еще два дня; пришла, наконец, давно ожидаемая петербургская почта; но никакой головы не привезла.

Началась анархия, то есть безначалие. Присутственные места запустили; недоимок накопилось такое множество, что местный казначей, заглянув в казенный ящик, разинул рот, да так на всю жизнь с разинутым ртом и остался; квартальные отбились от рук и нагло бездействовали; официальные дни исчезли. Мало того, начались убийства, и на самом городском выгоне поднято было туловище неизвестного человека, в котором, по фалдочкам, хотя и признали лейб-кампанца, но ни капитан-исправник, ни прочие члены временного отделения, как ни бились, не могли отыскать отделенной от туловища головы.

В восемь часов вечера помощник градоначальника получил по телеграфу известие, что голова давным-давно послана. Помощник градоначальника оторопел окончательно.

Проходит и еще день, а градоначальниково тело все сидит в кабинете и даже начинает портиться. Начальстволюбие, временно потрясенное странным поведением Брудастого, робкими, но твердыми шагами выступает вперед. Лучшие люди едут процессией к помощнику градоначальника и настоятельно требуют, чтобы он распорядился. Помощник градоначальника, видя, что недоимки накапливаются, пьянство развивается, правда в судах упраздняется, а резолюции не утверждаются, обратился к содействию штаб-офицера. Сей последний, как человек

¹¹ Изумительно!! – Изд.

обязательный, телеграфировал о происшедшем случае по начальству, и по телеграфу же получил известие, что он, за нелепое донесение, уволен от службы¹².

Услыхав об этом, помощник градоначальника пришел в управление и заплакал. Пришли заседатели – и тоже заплакали; явился стряпчий, но и тот от слез не мог говорить.

Между тем Винтергальтер говорил правду, и голова действительно была изготовлена и выслана своевременно. Но он поступил опрометчиво, поручив доставку ее на почтовых мальчику, совершенно несведущему в органном деле. Вместо того чтоб держать посылку бережно на весу, неопытный посланец кинул ее на дно телеги, а сам задремал. В этом положении он проскакал несколько станций, как вдруг почувствовал, что кто-то укусил его за икру. Застигнутый болью врасплах, он с поспешностью развязал рогожный кулек, в котором завернута была загадочная кладь, и странное зрелище вдруг представилось глазам его. Голова разевала рот и поводила глазами; мало того: она громко и совершенно отчетливо произнесла: «Разорю!»

Мальчишка просто обезумел от ужаса. Первым его движением было выбросить горящую кладь на дорогу; вторым – незаметным образом спуститься из телеги и скрыться в кусты.

Может быть, тем бы и кончилось это странное происшествие, что голова, пролежав некоторое время на дороге, была бы со временем раздавлена экипажами проезжающих и, наконец, вывезена на поле в виде удобрения, если бы дело не усложнилось вмешательством элемента до такой степени фантастического, что сами глуповцы – и те стали в тупик. Но не будем упреждать событий и посмотрим, что делается в Глупове.

Глупов закипал. Не видя несколько дней сряду градоначальника, граждане волновались и, нимало не стесняясь, обвиняли помощника градоначальника и старшего квартального в растрате казенного имущества. По городу безнаказанно бродили юродивые и блаженные и предсказывали народу всякие бедствия. Какой-то Мишка Возгрявый уверял, что он имел ночью сонное видение, в котором явился к нему муж грозен и облаком пресветлым одет.

Наконец глуповцы не вытерпели; предводительствуемые излюбленным гражданином Пузановым, они выстроились в каре перед присутственными местами и требовали к народному суду помощника градоначальника, грозя в противном случае разнести и его самого, и его дом.

Противообщественные элементы всплывали наверх с ужасающей быстротой. Поговаривали о самозванцах, о каком-то Степке, который, предводительствуя вольницей, не далее как вчера, в виду всех, свел двух купеческих жен.

– Куда ты девал нашего батюшку? – завопило разозленное до неистовства сонмище, когда помощник градоначальника предстал перед ним.

– Атаманы-молодцы! где же я вам его возьму, коли он на ключ заперт! – уговаривал толпу объятый трепетом чиновник, вызванный событиями из административного оцепенения. В то же время он секретно мигнул Байбакову, который, увидев этот знак, немедленно скрылся.

Но волнение не унималось.

– Врешь, переметная сума! – отвечала толпа. – Вы нарочно с квартальным стакнулись, чтоб батюшку нашего от себя избыть!

И Бог знает, чем разрешилось бы всеобщее смятение, если бы в эту минуту не послышался звон колокольчика и вслед за тем не подъехала к бунтующим телега, в которой сидел капитан-исправник, а с ним рядом... исчезнувший градоначальник!

На нем был надет лейб-кампанский мундир; голова его была сильно перепачкана грязью и в нескольких местах побита. Несмотря на это, он ловко выскочил с телеги и сверкнул на толпу глазами.

– Разорю! – загремел он таким оглушительным голосом, что все мгновенно притихли.

¹² Этот достойный чиновник оправдался и, как увидим ниже, принимал деятельнейшее участие в последующих глуповских событиях. – *Изд.*

Волнение было подавлено сразу; в этой, недавно столь грозно гудевшей, толпе водворилась такая тишина, что можно было расслышать, как жужжал комар, прилетевший из соседнего болота подивиться на «сие нелепое и смеха достойное глуповское смятение».

– Зачинщики вперед! – скомандовал градоначальник, все более возвышая голос.

Начали выбирать зачинщиков из числа неплательщиков податей, и уже набрали человек с десяток, как новое и совершенно диковинное обстоятельство дало делу совсем другой оборот.

В то время как глуповцы с тоскою перешептывались, припоминая, на ком из них более накопилось недоимки, к сборищу незаметно подъехали столь известные обывателям градоначальнические дрожки. Не успели обыватели оглянуться, как из экипажа выскочил Байбаков, а следом за ним в виду всей толпы очутился точь-в-точь такой же градоначальник, как и тот, который, за минуту перед тем, был привезен в телеге исправником! Глуповцы так и остолбенели.

Голова у этого другого градоначальника была совершенно новая и притом покрытая лаком. Некоторым прозорливым гражданам показалось странным, что большое родимое пятно, бывшее несколько дней тому назад на правой щеке градоначальника, теперь очутилось на левой.

Самозванцы встретились и смерили друг друга глазами. Толпа медленно и в молчании разошлась¹³.

¹³ Издатель почел за лучшее закончить на этом месте настоящий рассказ, хотя «Летописец» и дополняет его различными разъяснениями. Так, например, он говорит, что на первом градоначальнике была надета та самая голова, которую выбросил из телеги посланный Винтергальтера и которую капитан-исправник приставил к туловищу неизвестного лейб-кампанца; на втором же градоначальнике была надета прежняя голова, которую наскоро исправил Байбаков, по приказанию помощника городничего, набивши ее, по ошибке, вместо музыки вышедшими из употребления предписаниями. Все эти рассуждения положительно младенческие, и несомненным остается только то, что оба градоначальника были самозванцы. – *Изд.*

Сказание о шести градоначальницах Картина глуповского междоусобия

Как и должно было ожидать, странные происшествия, совершившиеся в Глупове, не остались без последствий.

Не успело еще пагубное двоевластие пустить зловредные свои корни, как из губернии прибыл рассыльный, который, забрав обоих самозванцев и посадив их в особые сосуды, наполненные спиртом, немедленно увез для освидетельствования.

Но этот, по-видимому, естественный и законный акт административной твердости едва не сделался источником еще горших затруднений, нежели те, которые произведены были непонятным появлением двух одинаковых градоначальников.

Едва простыл след рассыльного, увезшего самозванцев, едва узнали глуповцы, что они остались совсем без градоначальника, как, движимые силою начальстволюбия, немедленно впали в анархию.

«И лежал бы град сей и доднесь в оной погибельной бездне, – говорит летописец, – ежели бы не был извлечен отголь твердостью и самоотвержением некоторого неустрашимого штаб-офицера из местных обывателей».

Анархия началась с того, что глуповцы собрались вокруг колокольни и сбросили с раската двух граждан: Степку да Ивашку. Потом пошли к модному заведению француженки, девицы де Сан-Кюлот (в Глупове она была известна под именем Устиньи Протасьевны Трубочистихи; впоследствии же оказалась сестрою Марата¹⁴ и умерла от угрызений совести) и, перебив там стекла, последовали к реке. Тут утопили еще двух граждан: Порфишку да другого Ивашку, и, ничего не доспев, разошлись по домам.

Между тем измена не дремала. Явились честолюбивые личности, которые задумали воспользоваться дезорганизацией власти для удовлетворения своим эгоистическим целям. И, что всего страннее, представительницами анархического элемента явились на сей раз исключительно женщины.

Первая, которая замыслила похитить бразды глуповского правления, была Ираида Лукинишна Палеологова, бездетная вдова, непреклонного характера, мужественного сложения, с лицом темно-коричневого цвета, напоминавшим старопечатные изображения. Никто не помнил, когда она поселилась в Глупове, так что некоторые из старожилков полагали, что событие это совпадало с мраком времен. Жила она уединенно, питаясь скудною пищею, отдавая в рост деньги и жестоко истязуя четырех своих крепостных девок. Дерзкое свое предприятие она, по-видимому, зрело обдумала. Во-первых, она сообразила, что городу без начальства ни на минуту оставаться невозможно; во-вторых, нося фамилию Палеологовых, она видела в этом некоторое тайное указание; в-третьих, не мало предвещало ей хорошего и то обстоятельство, что покойный муж ее, бывший винный пристав, однажды, за оскудением, исправлял где-то должность градоначальника. «Сообразив сие, – говорит «Летописец», – злоехидная она Ираидка начала действовать».

Не успели глуповцы опомниться от вчерашних событий, как Палеологова, воспользовавшись тем, что помощник градоначальника со своими приспешниками засел в клубе в бостон, извлекла из ножен шпагу покойного винного пристава и, напоив, для храбрости, троих солдат из местной инвалидной команды, вторглась в казначейство. Отголь, взяв в плен казначея и бухгалтера, а казну бессовестно обокрав, возвратилась в дом свой. Причем бросала в народ

¹⁴ Марат в то время не был известен; ошибку эту, впрочем, можно объяснить тем, что события описывались «Летописцем», по-видимому, не по горячим следам, а несколько лет спустя. – *Изд.*

медными деньгами, а пьяные ее подручники восклицали: «Вот наша матушка! теперь нам, братцы, вина будет вволю!»

Когда, на другой день, помощник градоначальника проснулся, все уже было кончено. Он из окна видел, как обыватели поздравляли друг друга, лобызались и проливали слезы. Затем, хотя он и попытался вновь захватить бразды правления, но так как руки у него тряслись, то сейчас же их выпустил. В унынии и тоске он поспешил в городское управление, чтоб узнать, сколько осталось верных ему полицейских солдат, но на дороге был схвачен заседателем Толковниковым и приведен пред Ираидку. Там уже застал он связанного казенных дел стряпчего, который тоже ожидал своей участи.

– Признаёте ли вы меня за градоначальницу? – кричала на них Ираидка.

– Если ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то признаю! – твердо отвечал мужественный помощник градоначальника. Казенных дел стряпчий трясся всем телом и трясением этим как бы подтверждал мужество своего сослуживца.

– Не о том вас спрашивают, мужняя ли я жена или вдова, а о том, признаете ли вы меня градоначальницею? – пуще ярилась Ираидка.

– Если более ясных доказательств не имеешь, то не признаю! – столь твердо отвечал помощник градоначальника, что стряпчий зашелкал зубами и заметался во все стороны.

– Что с ними толковать! на раскат их! – вопил Толковников и его единомышленники.

Нет сомнения, что участь этих оставшихся верными долгу чиновников была бы весьма плачевна, если б не выручило их непредвиденное обстоятельство. В то время, когда Ираида беспечно торжествовала победу, неустрашимый штаб-офицер не дремал и, руководясь пословицей: «Выбивай клин клином», научил некоторую авантюристку, Клемантинку де Бурбон, предъявить права свои. Права эти заключались в том, что отец ее, Клемантинки, кавалер де Бурбон, был некогда где-то градоначальником и за фальшивую игру в карты от должности той уволен. Сверх сего, новая претендентша имела высокий рост, любила пить водку и ездила верхом по-мужски. Без труда склонив на свою сторону четырех солдат местной инвалидной команды и будучи тайно поддерживаема польскою интригою, эта бездельная проходимица овладела умами почти мгновенно. Опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Тимошку да третьего Ивашку, потом пошли к Трубочистихе и догла разорили ее заведение, потом шарахнулись к реке и там утопили Прошку да четвертого Ивашку.

В таком положении были дела, когда мужественных страдальцев повели к раскату. На улице их встретила предводимая Клемантинкою толпа, посреди которой недреманным оком бодрствовал неустрашимый штаб-офицер. Пленников немедленно освободили.

– Что, старички! признаете ли вы меня за градоначальницу? – спросила беспутная Клемантинка.

– Ежели ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то признаю! – мужественно отвечал помощник градоначальника.

– Ну, Христос с вами! отведите им по клочку земли под огороды! пускай сажают капусту и пасут гусей! – кротко сказала Клемантинка и с этим словом двинулась к дому, в котором укрепились Ираидка.

Произошло сражение; Ираидка защищалась целый день и целую ночь, искусно выставляя вперед пленных казначея и бухгалтера.

– Сдайся! – говорила Клемантинка.

– Покорись, бесстыжая! да уйми своих кобелей! – храбро отвечала Ираидка.

Однако к утру следующего дня Ираидка начала ослабевать, но и то благодаря лишь тому обстоятельству, что казначей и бухгалтер, проникнувшись гражданской храбростью, решительно отказались защищать укрепление. Положение осажденных сделалось весьма сомнительным. Сверх обязанности отбивать осаждающих, Ираидке необходимо было усмирять измену в собственном лагере. Предвидя конечную гибель, она решила умереть героической смертью

и, собрав награбленные в казне деньги, в виду всех взлетела на воздух вместе с казначеем и бухгалтером.

Утром помощник градоначальника, сажая капусту, видел, как обыватели вновь поздравляли друг друга, лобызались и проливали слезы. Некоторые из них до того осмелились, что даже подходили к нему, хлопали по плечу и в шутку называли свинопасом. Всех этих смельчаков помощник градоначальника, конечно, тогда же записал на бумажку.

Вести о «глуповском нелепом и смеха достойном смятении» достигли, наконец, и до начальства. Велено было «беспутную оную Клемантинку, сыскав, представить, а которые есть у нее сообщники, то и тех, сыскав, представить же, а глуповцам крепко-накрепко наказать, дабы неповинных граждан в реке занапрасно не утапливали и с раската звериным обычаем не сбрасывали». Но известия о назначении нового градоначальника все еще не получалось.

Между тем дела в Глупове запутывались все больше и больше. Явилась третья претендентша, ревельская уроженка Амалия Карловна Штокфиш, которая основывала свои претензии единственно на том, что она два месяца жила у какого-то градоначальника в помпадуршах. Опять шарашнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Семку и только что хотели спустить туда же пятого Ивашку, как были остановлены именитым гражданином Силой Терентьевым Пузановым.

– Атаманы-молодцы! – говорил Пузанов. – Однако ведь мы таким манером всех людишек перебьем, а толку не измыслим!

– Правда! – согласились опомнившиеся атаманы-молодцы.

– Стой! – кричали другие. – А зачем Ивашко галдит? галдеть разве велено?

Пятый Ивашко стоял ни жив ни мертв перед раскатом, машинально кланяясь на все стороны.

В это время к толпе подъехала на белом коне девица Штокфиш, сопровождаемая шестью пьяными солдатами, которые вели взятую в плен беспутную Клемантинку. Штокфиш была полная, белокурая немка, с высокою грудью, с румяными щеками и с пухлыми, словно вишни, губами. Толпа заволновалась.

– Ишь толстомясяя! Пупки-то нагуляла! – раздалось в разных местах.

Но Штокфиш, очевидно, заранее взвесила опасности своего положения и поторопилась отразить их хладнокровием.

– Атаманы-молодцы! – гаркнула она, молодецки указывая на обезумевшую от водки Клемантинку. – Вот беспутная оная Клемантинка, которую велено, сыскав, представить! видели?

– Видели! – шумела толпа.

– Точно видели? и признаёте ее за ту самую беспутную оную Клемантинку, которую велено, сыскав, немедленно представить?

– Видели! признаем!

– Так выкатить им три бочки пенного! – воскликнула неустрашимая немка, обращаясь к солдатам, и, не торопясь, выехала из толпы.

– Вот она! вот она, матушка-то наша Амалия Карловна! теперь, братцы, вина у нас будет вдоволь! – гаркнули атаманы-молодцы вслед уезжающей.

В этот день весь Глупов был пьян, а больше всех пятый Ивашко. Беспутную оную Клемантинку посадили в клетку и вывезли на площадь; атаманы-молодцы подходили и дразнили ее. Некоторые, более добродушные, потчевали водкой, но требовали, чтобы она за это откинула какое-нибудь коленце.

Легкость, с которой толстомясяя немка Штокфиш одержала победу над беспутною Клемантинкой, объясняется очень просто. Клемантинка, как только уничтожила Раидку, так сейчас же заперлась с своими солдатами и предалась изнеженности нравов. Напрасно пан Кшешпицюльский и пан Пшекшицюльский, которых она была тайным орудием, усовещивали, протестовали и угрожали – Клемантинка через пять минут была до того пьяна, что ничего уж

не понимала. Паны некоторое время еще подержались, но потом, увидев бесполезность дальнейшей стойкости, отступились. И действительно, в ту же ночь Клемантинка была поднята в бесчувственном виде с постели и выволочена в одной рубашке на улицу.

Неустршимый штаб-офицер (из обывателей) был в отчаянии. Из всех его ухищрений, подвохов и переодеваний ровно ничего не выходило. Анархия царствовала в городе полная; начальствующих не было; предводитель удрал в деревню; старший квартальный зарылся с смотрителем училищ на пожарном дворе в солому и трепетал. Самого его, штаб-офицера, сыскивали по городу и за поимку назначено было награды алтын. Обыватели заволновались, потому что всякому было лестно тот алтын прикарманить. Он уж подумывал, не лучше ли ему самому воспользоваться деньгами, явившись к толстомясой немке с повинною, как вдруг неожиданное обстоятельство дало делу совершенно новый оборот.

Легко было немке справиться с беспутною Клемантинкою, но несравненно труднее было обезоружить польскую интригу, тем более что она действовала невидимыми подземными путями. После разгрома Клемантинкины паны Кшепшицюльский и Пшекшицюльский грустно возвращались по домам и громко сетовали на неспособность русского народа, который даже для подобного случая ни одной талантливой личности не сумел из себя выработать, как внимание их было развлечено одним, по-видимому, ничтожным происшествием.

Было свежее майское утро, и с неба падала изобильная роса. После бессонной и бурно проведенной ночи глуповцы улеглись спать, и в городе царствовала тишина непробудная. Около деревянного домика невзрачной наружности суетились какие-то два парня и мазали дегтем ворота. Увидев панов, они, по-видимому, смешались и спешили наутек, но были остановлены.

– Что вы тут делаете? – спросили паны.

– Да вот, Нелькины ворота дегтем мажем! – сознался один из парней. – Очненно она ноне на все стороны махаться стала!

Паны переглянулись и как-то многозначительно цыркнули. Хотя они пошли далее, но в головах их созрел уже план. Они вспомнили, что в ветхом деревянном домике действительно жила и содержала заезжий дом их компатриотка, Анеля Алоизиевна Лядоховская, и что хотя она не имела никаких прав на название градоначальнической помпадурши, но тоже была как-то однажды призываема к градоначальнику. Этого последнего обстоятельства совершенно достаточно было, чтобы выставить новую претендентшу и сплести новую польскую интригу.

Они тем легче могли успеть в своем намерении, что в это время своеволие глуповцев дошло до размеров неслыханных. Мало того что они в один день сбросили с раската и утопили в реке целые десятки излюбленных граждан, но на заставе самовольно остановили ехавшего из губернии, по казенной подорожной, чиновника.

– Кто ты? и с чем к нам приехал? – спрашивали глуповцы у чиновника.

– Чиновник из губернии (имярек), – отвечал приезжий, – и приехал сюда для розыску бездельных Клемантинкиных дел!

– Врет он! Он от Клемантинки, от подлой, подослан! волоките его на съезжую! – кричали атаманы-молодцы.

Напрасно протестовал и сопротивлялся приезжий, напрасно показывал какие-то бумаги, народ ничему не верил и не выпускал его.

– Нам, брат, этой бумаги целые вороха показывали – да пустое дело вышло! а с тобой нам ссылатся не пригоже, потому ты, и по обличью видно, беспутной оной Клемантинки лазутчик! – кричали одни.

– Что с ним по пустякам лясы точить! в воду его – и шабаш! – кричали другие.

Несчастливого чиновника увели в съезжую избу и отдали за приставов.

Между тем Амалия Штокфиш распорядилась; назначила с мещан по алтыну с каждого двора, с купцов же по фунту чаю да по голове сахара по большой. Потом поехала в казармы и

из собственных рук поднесла солдатам по чарке водки и по куску пирога. Возвращаясь домой, она встретила на дороге помощника градоначальника и стряпчего, которые гнали хворостиной гусей с луга.

– Ну, что, старички? одумались? признаёте меня? – спросила она их благосклонно.

– Ежели имеешь мужа и можешь доказать, что он наш градоначальник, то признаем! – твердо ответил помощник градоначальника.

– Ну, Христос с вами! пасите гусей! – сказала толстомясая немка и проследовала далее.

К вечеру полил такой сильный дождь, что улицы Глупова сделались на несколько часов непроходимыми. Благодаря этому обстоятельству, ночь минула благополучно для всех, кроме злосчастливого приезжего чиновника, которого, для вернейшего испытания, посадили в темную и тесную каморку, исстари носившую название «большого блошиного завода», в отличие от малого завода, в котором испытывались преступники менее опасные. Наставшее затем утро также не благоприятствовало проискам польской интриги, так как интрига эта, всегда действуя в темноте, не может выносить солнечного света. «Толстомясая немка», обманутая наружной тишиной, сочла себя вполне утвердившеюся и до того осмелилась, что вышла на улицу без провожатого и начала заигрывать с проходящими. Впрочем, к вечеру она, для формы, созвала опытейших городских будочников и открыла совещание. Будочники единогласно советовали: первое, беспутную оную Клемантинку, не медля, утопить, дабы не смущала народ и не дразнила; второе, помощника градоначальника и стряпчего пытать, и в-третьих, неустрашимого штаб-офицера, сыскав, представить. Но таково было ослепление этой несчастной женщины, что она и слышать не хотела о мерах строгости и даже приезжего чиновника велела перевести из большого блошиного завода в малый.

Между тем глуповцы мало-помалу начинали приходить в себя, и охранительные силы, скрывавшиеся дотоле на задних дворах, робко, но твердым шагом выступали вперед. Помощник градоначальника, сославшись с стряпчим и неустрашимым штаб-офицером, стал убеждать глуповцев удаляться немкиной и Клемантинкиной злоехидной прелести и обратиться к своим занятиям. Он строго порицал распоряжение, вследствие которого приезжий чиновник был засажен в блошинный завод, и предрекал Глупову великие от того бедствия. Сила Терентьев Пузанов, при этих словах, тоскливо замотал головой, так что если б атаманы-молодцы были крошечку побойчее, то они, конечно, разнесли бы съезжую избу по бревнышку. С другой стороны, и «беспутная она Клемантинка» оказала немаловажную услугу партии порядка...

Дело в том, что она продолжала сидеть в клетке на площади, и глуповцам в сладость было, в часы досуга, приходить дразнить ее, так как она остервенялась при этом неслыханно, в особенности же когда к ее телу прикасались концами раскаленных железных прутьев.

– Что, Клемантинка, сладко? – хохотали одни, видя, как «беспутная» вертелась от боли.

– А сколько, братцы, эта паскуда винища у нас слопала – страсть! – прибавляли другие.

– Ваше я, что ли, пила? – огрызалась беспутная Клемантинка. – Кабы не моя несчастная слабость да не покинули меня паны мои милые, узнали бы вы у меня ужо, каковая я есть!

– Толстомясая-то тебе небось прежде, какова она есть, показала!

– То-то «толстомясая»! Я, какова ни на есть, а все-таки градоначальническая дочь, а то взяли себе расхожую немку!

Приздумались глуповцы над этими Клемантинкиными словами. Загадала она им загадку.

– А что, братцы! ведь она, Клемантинка, хоть и беспутная, а правду молвила! – говорили одни.

– Пойдем, разнесем толстомясую! – галдели другие.

И если б не подоспели тут будочники, то несдобровать бы «толстомясой», полететь бы ей вниз головой с раската! Но так как будочники были строгие, то дело порядка оттянулось, и атаманы-молодцы, пошумев еще с малость, разошлись по домам.

Но торжество «вольной немки» приходило к концу само собою. Ночью, едва успела она сомкнуть глаза, как услышала на улице подозрительный шум и сразу поняла, что все для нее кончено. В одной рубашке, босая, бросилась она к окну, чтобы, по крайней мере, избежать позора и не быть посаженной, подобно Клемантинке, в клетку, но было уже поздно.

Сильная рука пана Кшепшицпольского крепко держала ее за стан, а Нелька Лядоховская, «разъярившись неслыханно», требовала к ответу.

– Правда ли, девка Амалька, что ты обманным образом власть похитила и градоначальницей облыжно называть себя изволила и тем многих людишек в соблазн ввела? – спрашивала ее Лядоховская.

– Правда, – отвечала Амалька, – только не обманным образом и не облыжно, а была и емь градоначальница по самой сущей истине.

– И с чего тебе, паскуде, такое смехотворное дело в голову взбрело? и кто тебя, паскуду, тому делу научил? – продолжала допрашивать Лядоховская, не обращая внимания на Амалькин ответ.

Амалька обиделась.

– Может быть, и есть здесь паскуда, – сказала она, – только не я.

Сколько затем ни предлагали девке Амальке вопросов, она презрительно молчала; сколько ни принуждали ее повиниться – не повинилась. Решено было запереть ее в одну клетку с беспутною Клемантинкой.

«Ужасно было видеть, – говорит «Летописец», – как оные две беспутные девки, от третьей, еще беспутнейшей, друг другу на съедение отданы были! Довольно сказать, что к утру на другой день в клетке ничего, кроме смрадных их костей, уже не было!»

Проснувшись, глуповцы с удивлением узнали о случившемся; но и тут не затруднились. Опять все вышли на улицу и стали поздравлять друг друга, лобызаться и проливать слезы. Некоторые просили опохмелиться.

– Ах, ляд вас побери! – говорил неустрашимый штаб-офицер, взирая на эту картину. – Что ж мы, однако, теперь будем делать? – спрашивал он в тоске помощника градоначальника.

– Надо орудовать, – отвечал помощник градоначальника, – вот что! не пустить ли, сударь, в народе слух, что оная шельма Анелька, заместо храмов Божиих, костелы везде ставить велела?

– И чудесно!

Но к полудню слухи сделались еще тревожнее. События следовали за событиями с быстротою невероятною. В пригородной солдатской слободе объявилась еще претендентша, Дунька-толстопятая, а в стрелецкой слободе такую же претензию заявила Матренка-ноздря. Обе основывали свои права на том, что и они не раз бывали у градоначальников «для лакомства». Таким образом, приходилось отражать уже не одну, а разом трех претендентш.

И Дунька и Матренка бесчинствовали несказанно. Выходили на улицу и кулаками сшибали проходящим головы, ходили в одиночку на кабаки и разбивали их, ловили молодых парней и прятали их в подполья, ели младенцев, а у женщин вырезали груди и тоже ели. Распустивши волоса по ветру, в одном утреннем неглиже, они бегали по городским улицам, словно иступленные, плевались, кусались и произносили неподобные слова.

Глуповцы просто обезумели от ужаса. Опять все побежали к колокольне, и сколько тут было перебито и перетоплено тел народных – того даже приблизительно сообразить невозможно. Началось общее судбище; всякий припоминал про своего ближнего всякое, даже такое, что тому и во сне не снилось, и так как судоговорение было краткословное, то в городе только и слышалось: шлеп-шлеп-шлеп! К четырем часам пополудни загорелась съезжая изба; глуповцы кинулись туда и оцепенели, увидав, что приезжий из губернии чиновник сгорел весь без остатка. Опять началось судбище; стали доискиваться, от чьего воровства произошел пожар, и порешили, что пожар произведен сущим воров и бездельником пятым Ивашкой. Вздернули

Ивашку на дыбу, требуя чистосердечного во всем признания, но в эту самую минуту в пушкарской слободе загорелся тараканий малый заводец, и все шарахнулись туда, оставив пятого Ивашку висящим на дыбе. Зазвонили в набат, но пламя уже разлилось рекою и перепалило всех тараканов без остатка. Тогда поймали Матренку-ноздрю и начали вежливенько топить ее в реке, требуя, чтоб она сказала, кто ее, сущую бездельницу и воровку, на воровство научил и кто в том деле ей пособлял? Но Матренка только пускала в воде пузыри, а сообщников и пособников не выдала никого.

Среди этой общей тревоги об шельме Анельке совсем позабыли. Видя, что дело ее не выгорело, она, под шумок, снова переехала в свой заезжий дом, как будто за ней никаких пакостей и не водилось, а паны Кшепшицюльский и Пшекшицюльский завели кондитерскую и стали торговать в ней печатными пряниками. Оставалась одна толстопятая Дунька, но с нею совладать было решительно невозможно.

– А надо, братцы, изымать ее беспременно! – увещевал атаманов-молодцов Сила Терентич Пузанов.

– Да! поди, сунься! ловкой! – отвечали молодцы.

Был, по возмущении, уже день шестой.

Тогда произошло зрелище умиленное и беспримерное. Глуповцы вдруг воспрянули духом и сами совершили скромный подвиг собственного спасения. Перебивши и перетопивши целую уйму народа, они основательно заключили, что теперь в Глупове крамольного греха не осталось ни на эстолько. Уцелели только благонамеренные. Поэтому всякий смотрел всякому смело в глаза, зная, что его невозможно попрекнуть ни Клемантинкой, ни Раидкой, ни Матренкой. Решили действовать единодушно и прежде всего снести с пригородами. Как и следовало ожидать, первый выступил на сцену неустрашимый штаб-офицер.

– Сограждане! – начал он взволнованным голосом, но так как речь его была секретная, то весьма естественно, что никто ее не слышал.

Тем не менее глуповцы прослезились и начали нудить помощника градоначальника, чтобы вновь принял бразды правления; но он, до поимки Дуньки, с твердостью от отказался. Послышались в толпе вздохи; раздались восклицания: «Ах! согрешения наши великие!» – но помощник градоначальника был непоколебим.

– Атаманы-молодцы! в ком еще крамола осталась – выходи! – гаркнул голос из толпы.

Толпа молчала.

– Все очистились? – допрашивал тот же голос.

– Все! все! – загудела толпа.

– Крестись, братцы!

Все перекрестились, объявлено было против Дуньки-толстопятой общее ополчение.

Пригороды между тем один за другим слали в Глупов самые утешительные отписки. Все единодушно соглашались, что крамолу следует вырвать с корнем и для начала прежде всего очистить самих себя. Особенно трогательна была отписка пригорода Полоумнова. «Точию же, братие, сами себя прилежно испытайте, – писали тамошние посадские люди, – да в сердцах ваших гнездо крамольное не свиваемо будет, а будете здоровы, и пред лицом начальственным не злокозненны, но добротщательны, достохвальны и прелюбезны». Когда читалась эта отписка, в толпе раздавались рыдания, а посадская жена Аксинья Гунявая, воспалившись ревностью великою, тут же высыпала из кошеля два двугривенных и положила основание капиталу, для поимки Дуньки предназначенному.

Но Дунька не сдавалась. Она укрепилась на большом клоповном заводе и, вооружившись пушкой, стреляла из нее как из ружья.

– Ишь, шельма, каки артикулы пушкой выделявает! – говорили глуповцы, и не смели подступить.

– Ах, съешь ты клопы! – восклицали другие.

Но и клопы были с нею как будто заодно. Она целыми тучами выпускала их против осаждающих, которые в ужасе разбежались. Решили обороняться от них варом, и средство это как будто помогло. Действительно, вылазки клопов прекратились, но подступиться к избе все-таки было невозможно, потому что клопы стояли там стена стеною, да и пушка продолжала действовать смертоносно. Пытались было зажечь клоповный завод, но в действиях осаждающих было мало единомыслия, так как никто не хотел взять на себя обязанность руководить ими, – и попытка не удалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.